

Виктория Токарева

Летающие качели



И з д а т е л ь с т в о « А з б у к а »

Виктория Токарева
Летающие качели (сборник)

«Азбука-Аттикус»

1978

Токарева В. С.

Летающие качели (сборник) / В. С. Токарева — «Азбука-Аттикус», 1978

«Почти все будут писать про то, как они хотят прожить свою жизнь: чтобы путь их был и далек и долог, и нельзя повернуть назад. И все у них будет, как в песнях Пахмутовой: «Я уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу». А почему бы не вместе в степи, а потом вместе в тайге? А иногда очень хорошо бывает повернуть назад. Хорошо и даже принципиально». В. Токарева

© Токарева В. С., 1978

© Азбука-Аттикус, 1978

Содержание

Нам нужно общение	6
Рарака	13
Пираты в далеких морях	27
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Виктория Самойловна Токарева

Летающие качели

© Токарева В. С., 1978

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Нам нужно общение

Седьмого сентября 1976 года я ушел из дому. Как это случилось: мы с женой сидели и смотрели телевизор. Началась передача «В мире животных». Заиграла прекрасная музыка, и затанцевали страусы. Я понял, что если сию секунду не встану и не уйду, то я что-то свершу, например: сброшу телевизор на пол или выскочу в окно. Причем если я выскочу в окно, то полечу не вниз, а вверх. Я вылечу за пределы Земли и обращусь в искусственный спутник. Время меня не коснется, я буду вечно летать во мраке и холоде.

Я встал и надел пальто. Жена решила, что я пошел в киоск за сигаретами, и велела мне не сутулиться при ходьбе. Она сказала, что когда я хожу, то ныряю вниз головой, как пристяжная лошадь. Еще она сказала, что я все время смотрю вниз, будто хочу найти на асфальте монетку.

Когда-то в детстве я действительно любил искать монетки, и находил, и каждый раз смотрел: орел или решка.

Сейчас я давно ничего не ищу.

Я вышел на улицу и двинулся куда глаза глядят. Мои глаза действительно привели меня к табачному киоску, и я купил целый блок болгарских сигарет.

Я закурил и, пока курил, раздумывал: что делать дальше.

Как правило, люди сначала раздумывают, а уж потом уходят из семьи. А я сначала ушел, а потом стал раздумывать.

Наши отношения с женой, как это ни странно, были сильны не общими приобретениями, а общими утратами. Она из-за меня утратила способность к материнству и возненавидела меня за это. А я из-за нее утратил способность к авантюризму и остался тем, что я есть. Я вынюхиваю нарушителей порядка и стою на страже частной собственности граждан. В сущности, у меня собачья должность, и, может быть, поэтому я понимаю собак.

Ко мне подошла бездомная собака, похожая на Каштанку, а возможно – ее дочка или внучка.

– Как дела? – спросил я.

– Кручусь, – ответила Каштанка.

– Есть хочешь?

– Вообще-то я завтракала, – деликатно сказала Каштанка и посмотрела мне в руки.

В руках у меня была зажженная сигарета. Каштанка постояла немножко и отошла.

Из-за своей жены я не ушел шесть лет назад на зов любви и до сих пор жалею об этом. Она тоже жалеет о чем-то своем и иногда начинает рыдать по три дня подряд. Ест и плачет. Ходит – плачет. Спит и плачет. Мы исполняем каждый день по отношению друг к другу роль жертвы и палача одновременно. Не знаю – что чувствует она. Если попытаться сформулировать мое состояние – к нему больше всего подходит слово «скучно». Скучно моим глазам, моим мозгам и моей плоти. Когда я нахожусь с женой в одной комнате, то мне кажется: я медленно спускаюсь по лестнице в подвал с проросшей картошкой. На меня так же веет холодом и мраком, и так же хочется выйти на солнце.

Табачный киоск расположен против универсама. В универсаме продают ковры, и за коврами выстраиваются длинные очереди, преимущественно из узбеков и цыган. Из дверей то и дело появлялись люди, поперек их груди, как лавровый венок, висел скатанный ковер.

Я достал другую сигарету и почему-то вспомнил, как неделю назад я стоял в очереди за живой рыбой. Большой зеркальный карп поднял голову из аквариума, разинул рот и тянул в себя воздух. Он задышался. Вокруг были его знакомые и родственники – такие же карпы. Ему было не до них.

Но при чем тут карп. Карп – это я. Я ушел из аквариума в море, хотя карп – речная рыба. Значит, в озеро. Или в реку.

Я ушел из аквариума, и мне надо где-то переночевать.

Можно пойти к друзьям, но это неудобно. Мы дружим домами, преимущественно по телефону. Они дружат со мной и с женой, и, явившись ночевать, я должен ставить их перед проблемой выбора: я или жена. Зачем загружать жизнь друзей еще одной проблемой.

Возле входа в универмаг на ступеньках сидела роскошная молодая колли. Я не заметил, как она появилась. Колли смотрела перед собой, в ее глазах дрожали слезы.

Я присел перед ней на корточки и спросил:

– Ты чего?

– Мне очень страшно. Я боюсь, что мой хозяин не вернется.

– Вернется, – сказал я. – Куда ж он денется?

– А почему ты так думаешь? – спросила колли, глядя мне в глаза.

– Потому что ты его ждешь.

Я выкурил еще одну сигарету и пошел домой. В конце концов – моя жена тоже карп.

Я решил снять какое-нибудь жилье, а уж потом уйти из дома. Решить – это одно. А снять – совершенно другое. Первое зависит только от меня, а второе – это уже сумма двух желаний.

Я раскинул сети, и в мои сети попала одна полудохлая рыбка. Заведующий отделом Гракин предложил свою зимнюю дачу. Он сказал, что там – все удобства городской квартиры, с той только разницей, что городская квартира стоит в промозглом переулке среди камня и выхлопных газов. А на даче – деревья, белки и тишина.

Гракин – довольно молодой и довольно интеллигентный человек с превосходными зубами. Он с двадцати пяти лет в начальниках, правда в некрупных, и, думаю, выше не пойдет. Он любит ходить в бассейн, на ипподром, в Большой театр на дневные представления. Его невозможно застать на месте. Гракин приходит на работу только для того, чтобы дожидаться нужных звонков и уйти навстречу жизни, которая бурно и многообразно течет за окнами его кабинета.

В одно из воскресений я заехал за Гракиным, и мы отправились смотреть дачу.

Было начало ноября.

Деревья на участке еще не облетели. Стояли золотые, гордые и прекрасные.

Дача походила на деревенскую избу, но это была не изба, а именно стилизация под избу: простота, идущая не от бедности, а от богатства и вкуса. Внутри дома все, включая потолок, было отделано деревом. Мне казалось, что все беспокойство, накопившееся за жизнь, стекает к моим ступням и сквозь дерево уходит в землю, а я становлюсь легок и спокоен.

Этот дом достался Гракину от его родителей и, как я понял, был ему совершенно не нужен, потому что зимой он отдыхал в горах, а летом на море.

В комнате стояла старая и старинная мебель, которая не пригодилась в городе, так как скорее относилась к хламу, чем к антиквариату.

Возле стены – черная японская ширма, инкрустированная перламутром. Огромный письменный стол величиной с бильярдный.

Пианино с роскошными тяжелыми подсвечниками было расстроено донельзя. Я открыл крышку и тронул клавишу. На звук заглянула крупная серая кошка. Она строго посмотрела на меня и поздоровалась, мяукнула дребезжащим скрипучим голосом – абсолютно таким же, как в пианино.

– Это Клава, – представил кошку Гракин.

За окном свистел ветер, а в комнате было тепло, и уютные круглоголовые японцы бродили по черной ширме.

Я решил оставить за собой эту дачу и заплатил за три месяца вперед. Я почему-то думал, что Гракин не возьмет с меня денег, у него был вид бессребреника, но Гракин запросил шесть-

десять рублей в месяц. Он был привязан к деньгам, как все пьющие люди. Для пьющих каждый рубль – это треть бутылки. А треть бутылки – это начало прекрасных заблуждений.

Однажды Гракин сказал мне, что когда бывает пьян, то чувствует себя как под анестезией. А когда он трезв – ему больно жить на белом свете.

Гракин пересчитал деньги и сунул их во внутренний карман пиджака. Я пошутил над новосельем. Гракин засмеялся, и мне вдруг стало грустно. Всякая самоирония в конечном счете оборачивается жалостью к себе. Мне стало жаль себя. В моем возрасте, когда уже можно иметь внуков, я только начинаю жить, как молодой специалист, приехавший в деревню по окончании института.

Я всю жизнь мечтал иметь собственный загородный дом. Я люблю природу и одиночество. Гракин не понимает природу и не переносит одиночества. Ему этот дом, в сущности, ни к чему. Но у него он есть, а у меня нет. И никогда не будет.

У Гракина – трое детей от двух жен. А у меня – ни одного.

Последние десять лет я мечтаю приобрести себе дубленку. Но я только хочу, а у Гракина их две: одна канадская – для представительства, а другая монгольская – для сильных холодов.

К моим ногам подошла кошка Клава.

– Дай мне что-нибудь, – продребезжала Клава и посмотрела на меня склочным взглядом.

Я достал из кармана маленький круглый диск овсяного печенья.

– Это сладкое, – сказала Клава. – А я хочу есть.

– Сейчас я тебя накормлю, – пообещал Гракин и полез в висячий холодильник.

Из обувной коробки выглядывал крошечный котенок. Я хотел взять его на руки, но Гракин предупредил:

– Блохи...

Котенок тараторил на меня глаза в голубоватых белках.

– Выведем, – пообещал я ему.

– А ты останешься? Ты будешь с нами жить? – Котенок еще шире растараторил свои глаза.

Я с удовольствием остался бы на даче. Я сел бы за большой стол, как роденовский «Мыслитель», и сидел бы так час, два, и мне бы никто не мешал. Я остался бы прямо сейчас, но Гракину надо было возвращаться, и я повез его в город.

В дороге Гракин жаловался мне на свою жизнь. У него был загородный дом, дети, прекрасные зубы, две дубленки, но не было душевного равновесия, и он с удовольствием поменял бы все, что он имеет, на то, чего у него нет. Потом он сказал, что перепоручает мне Клаву с котенком и я должен о ней заботиться. Клава, как я понял, была сугубо дачная кошка. Она жила с хозяевами только летний сезон, а когда хозяева переезжали в город, то Клаву почему-то не брали. Может быть, в городе у них была другая, городская кошка.

Мы приехали в Москву в девять часов вечера. Ехать снова на дачу уже не имело смысла, тем более я должен был взять из дома свои книги и бумаги.

Я вернулся домой. Жена сидела перед духовкой на корточках и заглядывала: не запеклась ли корочка. Она делала шарлотку из яблок и хотела меня угостить.

У нас не было детей, и я был ее единственным ребенком. У нее не было ни отца, ни братьев – я был ее единственной родней и единственным смыслом ее жизни. И как бы ни скучна была жизнь, это была ее жизнь. И другой жизни у нее не было.

Я разделся и, не говоря ни слова, прошел к своему рабочему столу.

Я включил магнитофон на полную мощность и принялся за свою диссертацию. Я пишу ее, как летописец Пимен, – из года в год. Изо дня в день. Какой-нибудь трудолюбивый потомок через много лет найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою настольную лампаду, включит, как я, свой магнитофон...

Когда я работаю – у меня манера: подпираю лоб ладонью. Эта манера, как и вообще все манеры, входит в невроз навязчивых привычек, и я ее не замечаю. Еще я не выношу, когда моя

комната прибрана и проветрена. Я люблю обстановку разбросанных бумаг, захламленности и тепла. Очень может быть, что мои далекие предки – свиньи.

Входит жена и что-то говорит.

Я поднимаю голову от текста и не сразу понимаю, что она хочет. Я только вижу ее глаза – светло-голубые, почти белые. Без верхних век, они вделаны прямо в лицо, и вид у них просто зловещий. Два зловещих глаза на немолодом лице. Из-под байкового халата видны мои теплые кальсоны – трикотажные, с начесом, которые я давно не ношу. Моя жена все время мерзнет и ходит по дому в мужском белье.

Я долго смотрю на нее, потом переспрашиваю:

– Чего?

Жена говорит, чтобы я убрал руку ото лба, иначе я похож на Илью Муромца, высматривающего из-под ладони татар. Потом открывает форточку и начинает подметать комнату, приговаривая при этом, что она женщина и ее угнетает грязь в ее доме.

Я снимаю руки со стола и гляжу перед собой. Я чувствую себя как жертва, к которой пришел палач и, прежде чем заняться своим прямым делом, решил подмести мою камеру. Я поднимаю голову из аквариума и втягиваю воздух.

Я медленно спускаюсь вниз по лестнице, и захожу в подвал с проросшей картошкой, и различаю во мраке бледные ростки.

– Опять уходишь? – спросила Клава.

– Но ведь я тебя накормил. Скажи, только честно: тебе когда-нибудь сырую курицу давали?

– При чем тут курица... Мне нужно общение. Мне скучно...

– И мне скучно. – Котенок высунул мордочку из коробки. – Я могу одичать. Из меня может получиться рысь.

Я взял котенка и понес его в ванную комнату. Блох мы уже вывели и теперь поддерживаем чистоту.

Я налил в таз теплой воды, насыпал немного стирального порошку, взбил. Над тазом взошла хрупкая, нежная пена. Я опустил туда котенка. Стал мыть осторожно, следя, чтобы вода не заливалась в уши.

Заглянула Клава и сказала:

– Не простуди его.

Я набрал в ковш чистой воды. Котенок поднял лапы и положил их на голову, на загнутые ушки. Я окатил его чистой водой. Потом завернул в махровое полотенце. Промокнул. Протер насухо и пустил на пол. Шерстка у него поднялась дыбом.

Котенок зашагал по дому, задрал хвост, а я за ним следом, испытывая радость от проделанного полезного труда.

– Приходишь и уходишь, – сказала Клава. – Зачем ты снял дачу?

Я молчал.

– Ну зачем? Во имя чего? – Клава остановила на моем лице свои красивые глаза.

– Во имя свободы, – сказал я.

– Чего? – переспросила Клава, хотя прекрасно расслышала. Я видел это по ее морде. – Платишь шестьдесят рублей в месяц и ездишь каждый день сорок километров в один конец. Это называется «свобода»?

– Возможность свободы, – поправил я себя. – Должен же я платить за возможность свободы...

– А зачем тебе возможность?

– Я могу быть свободным, как только захочу.

– Так захоти.

– Когда надо, тогда и захочу. Ты еще будешь мне диктовать: что и когда я должен хотеть...
– Я скажу хозяину: пусть он сдаст дачу нормальным людям. А то ты и сам не живешь, и другим не даешь. Носишься, как мышь в уборной.

– Что за сравнение?

– Ты не видел, а я видела.

– Ну, и какой у нее выход? – поинтересовался я.

– У кого?

– У мыши в уборной.

– У нее два выхода: один – потонуть в унитазе. Другой – ко мне в лапы.

Я представил себе настроение мыши и сказал:

– Вот ты меня ругаешь, а сама живодерка порядочная.

– Но это мой долг, – ответила Клава. – У тебя – твой, а у меня мой. Хотя, если бы ты был котом...

– Что бы было?

– Ты бы сначала извинялся перед мышью, а потом перед хозяином и всех бы просил войти в твоё положение.

– И что дальше?

– Это зависит от хозяина. На их месте я бы взяла другого кота. Не такого интеллигентного.

Клава повернулась и пошла из комнаты. Ей не хотелось ругаться со мной окончательно: все-таки она от меня зависела. Я ее кормил.

Я сел за деревянный стол.

Котенок разогнулся и прыгнул мне на спину. Со спины перебрался на плечо. Устроился на плече и громко замурлыкал мне в самое ухо. Запел по-кошачьи. Я закрыл глаза, и мне захотелось замурлыкать вместе с ним. Но я не умел.

– Останься, – попросила Клава, входя. – Утром мы выедем на улицу и сделаем зарядку.

– Ты найдешь гриб... – пообещал котенок.

Я представил себе белый гриб, прикрытый сверху листом, звонкий шелест деревьев. А потом я представил себе жену, которая сидит возле телефона и узнает: не зарегистрирован ли в Москве несчастный случай. Ей отвечают, что в Москве каждый день – сорок несчастных случаев. Тогда она звонит в морг больницы Склифосовского и спрашивает: не привезли ли туда мужчину сорока пяти лет с бородкой, похожего на президента Линкольна.

Я снял котенка с плеча. Он перестал петь.

– Я не могу остаться, – сказал я. – Я не предупредил.

Клава промолчала.

– Почему ты молчишь?

– Если я скажу тебе: «останься», ты же все равно уедешь.

– Хотите, поедем со мной, – предложил я.

– Нет, – отказалась Клава. – Мы дачные кошки. Мы должны ловить здесь мышей.

На улице сильно подморозило. Стекла в машине обледенели. Я не видел, что делается сзади и с боков, и ехал вслепую. Ко всему, у меня испортился поворотник, и если я собирался повернуть, то не мог предупредить машину, идущую за мной следом. Я подвергал себя и других реальной опасности и, как и Клава, справедливо не понимал: во имя чего? И вместе с тем у меня было такое чувство, как будто кто-то, именуемый Судьбой или Совестью, охраняет вверенные мне существа и навязывает свою волю свыше.

Когда я приехал домой, жены не было. Я решил, что она вышла к соседям и скоро вернется. Но прошел час, потом другой. За ним третий.

Я сел к телефону, позвонил в милицию и спросил: не зарегистрирован ли несчастный случай. Мне ответили, что в Москве каждый день сорок несчастных случаев. Я стал звонить в справочную больницы Склифосовского, но в это время в двери повернулся ключ, и в моей душе, как ключ в замке, повернулась радость.

Жена сняла в прихожей пальто и вошла в комнату. На ней было темно-зеленое полудлинное платье – то самое, в каком я увидел ее первый раз двадцать лет назад.

– Что это за платье?

– Модно, – ответила жена. – Не могу же я игнорировать моду.

Я понял: это другое платье. Просто вернулась мода двадцатилетней давности, и жена вошла в комнату будто из своей молодости. Вошла и остановилась.

– Ты перебила мне сон. Я теперь не засну, – упрекнул я.

Мне не хотелось спать. Мне хотелось объяснений.

– Я ненадолго, – объяснила жена. – Я сейчас ухожу.

– Куда?

– В другую жизнь.

Она задвигалась по комнате и стала искать вещи, необходимые ей для другой жизни.

У жены было странное свойство рогамицы: блестеть. И сейчас ее большие голубые глаза блестели, будто были подсвечены. Черные волосы блестели, как лакированные. Нарядно поблескивали ногти на руках.

Жена остановилась, обдумывая, чуть закусив нижнюю губу.

– Кальсоны возьми, – напомнил я.

Жена улыбнулась рассеянно. Улыбка у нее была какая-то неокончательная. Когда я ее полюбил, то мне кажется – именно за эту застенчивую улыбку и светящиеся глаза.

Жена взяла кальсоны и положила их в красивый целлофановый пакет. Больше ей ничего не понадобилось.

– Не уходи, – попросил я.

– Я устала жить без любви, – сказала жена.

– Передумай, – попросил я.

– А зачем?

Жена посмотрела на меня. У нее было такое же выражение, как у Клавы. И такие же красивые глаза.

И я подумал: «Действительно, зачем?»

На другой день я раскрыл канцелярскую папку и принялся за свою диссертацию.

Моя комната была не прибрана и не проветрена.

Никто ко мне не заходил и не требовал, чтобы я отнял руку ото лба. Я мог работать сколько угодно, но мне не хотелось. Для того чтобы мне захотелось работать, надо, чтобы мне кто-то мешал.

Я подвинул к себе кроссворд. Прочитал: «Столица Португалии». И подумал: «Где Португалия? А где я?»

Я посидел и снова лег спать не раздеваясь. Я лежал целый день и смотрел в потолок.

К вечеру я встал и пошел на кухню. Достал из холодильника кусок вареной колбасы, но одному есть было неинтересно. Я завернул колбасу в газету и поехал на дачу.

Смеркалось. Окна в доме были освещены. Двигались тени.

Я открыл дверь и услышал торопливый, обгоняющий себя голос спортивного комментатора. Я догадался: по телевизору транслировали футбол.

Отворилась дверь, и в прихожую вышел Гракин, вытирая рукой рот. От него пахло тем, что он съел и выпил.

- А! – обрадовался Гракин. – Проходи! Гостем будешь!
- Почему гостем? – спросил я, хотя уже все понял: Гракин сдал дачу.
- Я сдал дачу, – подтвердил Гракин. – Вот твои деньги.
- Он протянул мне деньги. Я стоял и не брал. Гракин сунул деньги в мой карман. Меня это покорило. Гракин заметил.
- Здесь надо жить, топить, – сказал Гракин. – А то дом рассыхается.
- Дому нужно общение, – сказал я.
- Что? – не понял Гракин.

Комментатор вдруг закричал «гол!», и в комнате торжествующе завопили несколько голосов.

- Проходи, – предложил Гракин.
- Нет, – отказался я. – Пойду.
- В прихожую вышла Клава и посмотрела на меня открытым, чистым взглядом.
- Эх ты... – сказал я.
- Интересно, а на что ты рассчитывал?
- Поехали со мной, – позвал я.
- Нет, – отказалась Клава.
- Я буду тебя кормить и с тобой разговаривать.
- Это собаки привыкают к людям. А кошки – к дому...
- И тебе все равно с кем жить?
- Совершенно безразлично. Если меня не пинают ногами, конечно.

Я повернулся и пошел.

На улице было темно и ветрено. В небе мигали звезды.

Перед тем как выйти за калитку, я обернулся на дом. Из трубы шел дымок. Дом уютно светился желтыми окнами.

В углу правого окна, прижавшись мордочкой к стеклу, сидел котенок и смотрел мне вслед.

Я поднял руку и помахал ему. Котенок поднял лапу и тоже помахал, но не кистью, как я, а всей лапой, поводя слева направо, как кинозвезда, выходящая из самолета.

Я вышел за калитку. Поднял голову. Прямо надо мной, среди разрозненных облаков, стояла звезда.

- Ну, как тебе там? – спросил я негромко.
- Холодно, – отозвалась звезда, тоже негромко, и поежилась лучиком.

У меня была полная свобода под названием: одиночество.

Я остался один. Но зато научился понимать звезды.

Рарака

Слеза набухла медленно, долго, потом окончательно сформировалась и пошла по щеке. Добралась до края щеки, подождала еще одну слезу и, набрав тяжесть, сорвалась на стол, покрытый не то смолой, не то черной краской.

Лариска размазала слезу пальцем.

– Ну, скажи ему, как есть... – зашептала я. – Просто поди и скажи...

– Что?

– Ну как «что»... Скажи: «Я вас люблю!»

– А он? – Лариска подобрала очередную слезу языком.

– А он тебе ответит.

– Что?

– «Я вас тоже» или скажет: «А я вас нет!» Так ты хоть будешь знать.

– А как ты думаешь, что он скажет?

– Прекратите разговоры! – приказала Гонорская. – Если вам неинтересно, можете выйти из класса. Можете вообще не ходить на мой предмет.

Мы с Лариской замолчали.

– Побочная партия! – объявила Гонорская и подошла к роялю.

Она села, ударила по клавишам двумя руками, и мне показалось, что рояль удивился, как человек, и вздрогнул так, что даже подпрыгнул на всех трех ногах.

Гонорская играет громко и фальшиво по принципу: дурак не заметит, умный промолчит. Я веду себя как дурак и как умный. Замечаю и молчу. Но когда я слышу такое исполнение, я испытываю смущение и стыд.

Гонорская старается играть пореже и носит с собой магнитофон. И сейчас она закрыла рояль и включила магнитофон. Потом села на свое место и задумалась. О чем? Наверное, о любви. И весь наш выпускной курс музыкального училища – восемнадцать дев и трое юношей, – все сидят, слушают симфонию Калинникова и думают о любви. Кроме меня. Я считаюсь на третьем месте по красоте, после Тамары и Лариски, но я никогда не думаю ни о чем, кроме музыки.

У меня есть какие-то мальчики, три или четыре, а может, пять. С одним из них мы даже целуемся в парадном, но я каждый раз жду при этом, когда он отодвинет свое лицо от моего и я смогу уйти домой и сесть за пианино.

Я играю по восемь часов каждый день не потому, что я повышенно добросовестная, а потому, что все остальное мне неинтересно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, ни то ни другое. Это моя форма существования.

И еще я люблю бывать дома, потому что мне скучно без моих родителей, а им без меня.

Отец у меня красавец. В него влюблены все больные и весь медицинский персонал. Когда-то маме это нравилось, потом не нравилось, теперь все равно.

Магнитофон ревет, как водопроводная труба, но сквозь плохую запись я ловлю нежную витиеватую тему: звук бежит из звука, мысль никак не может остановиться. Потом приостанавливается незавершенно, чтобы передохнуть и снова начать свое чистое кружение.

Гонорская сказала, что Калинников рано умер. Я слушаю его душу. Представляю его себе с косым пробором в волосах, со светлыми карими глазами.

– Конечно! – горячо шепчет Лариска. – Ведь если бы он меня не любил, он не вел бы себя так.

– Как?

– Демонстративно равнодушно!

– Конечно! – шепчу я. – Просто он тебя дразнит!

...Чтение хоровых партитур – предмет необязательный, рассчитанный на то, что, если кто-нибудь по окончании училища захочет вести пение в общеобразовательной школе, он должен суметь прочесть с листа хоровую партитуру.

Я, например, собираюсь после училища поступить в консерваторию, стать лауреатом всех международных конкурсов и объездить весь мир.

Лариска собирается выйти замуж за Игнатия Петровича и родить ему троих детей. Он об этом пока ничего не подозревает.

У остальных студентов тоже более честолюбивые планы, чем пение в школе, поэтому к предмету все относятся с пренебрежением.

Занятия бывают раз в неделю – по вторникам, на один академический час положено по два ученика. Мы с Лариской ходим на чтение партитур вдвоем, на каждую из нас причитается по двадцать две с половиной минуты.

Сегодня вторник. Мы с Лариской стоим в мрачноватом коридоре первого этажа и поджидаем Игнатия Петровича.

– Ну что ты в нем нашла? – спрашиваю я.

– То, что он недоступен моему пониманию. Как марсианин.

– А Лерик доступен твоему пониманию?

Лерик – это Ларискин мальчик, курсант Военно-медицинской академии.

– Также недоступен, только с другой стороны, – говорит Лариска. – Я не понимаю, как можно быть таким синантропом.

Лариска влюблена в Игнатия, потому что он педагог, окончил консерваторию и как бы стоит на более высокой ступени развития. И потому, что он не обращает на Лариску никакого внимания.

– Раз я ему не нравлюсь, значит, он и получше видел, – делает Лариска логическое умозаключение. – Значит, я должна быть еще лучше тех, кто лучше меня. Великая война полов!

– И охота тебе... – удивляюсь я.

– Еще как охота! А чего еще делать?

– Мало ли серьезных дел?

– Это и есть самое серьезное дело, если хочешь знать.

– Какое?

– Быть нужным тому, кто нужен тебе!

Лариска стоит передо мной в полном снаряжении для великой войны полов. Верхние и нижние ресницы накрашены у нее так и настолько, что, когда она мигает, я слышу, как они клацают друг о друга, будто у куклы с закрывающимися глазами. Сложена она безукоризненно. Кофточка у нее не на пуговицах, а на шнуровке. Шнуровка неплотная, видна дорожка между грудями – нежная, невинная и какая-то самостоятельная, не имеющая к Лариске никакого отношения. Эта подробность моментально бросается в глаза и действует на людей по-разному. Девчонки сразу спрашивают: «А ты что, без лифчика ходишь?» – «Ага», – беспечно отвечает Лариска.

Мужчины ни о чем не спрашивают, изо всех сил стараются не смотреть.

Я стою рядом с Лариской в глухом свитере, как репей рядом с хризантемой.

В глубине коридора появляется Игнатий.

Лариска вся напрягается. Воздух вокруг нее делается густым от нервных флюидов.

Игнатий Петрович не торопясь подходит к двери. Здоровается. Отпирает класс ключом.

Лет Игнатию тридцать-сорок. Он высок, светловолос, не стрижен, похож на обросшего, выгоревшего за лето беспризорника. Кожа на лице бледная, вялая, вымороченная не то усталостью, не то отвращением к необязательности своего предмета.

Я никогда прежде не присматривалась к нему, но Ларискина влюбленность как-то возвысила его в моих глазах. Я вдруг отметила идеальную конструкцию его плеч и умение красиво носить красивые вещи.

– Садитесь! – пригласил Игнатий Лариску.

Лариска приопустилась на стул, как бабочка на неустойчивый цветок, грациозно разложила на клавишах свои легкие пальцы. Каждый палец – произведение искусства.

Игнатий сел рядом, ссутулившись. Лицо у него было свирепое.

– Но-че-ва-ла ту-у-у-чка... – обреченно завывала Лариска и задвигала пальцами.

Сложность заключалась в том, что надо было верхний голос петь, а три другие играть.

– Зо-ло-та-а-я...

– Фа, – сказал Игнатий.

Лариска долго смотрела в ноты, потом на правую руку, на левую, заглядывая под каждый палец.

Игнатий ждал, затем передвинул Ларискин палец с «ми» на «фа».

– Та-я... – опять провывала Лариска. – На-а груди-и...

– Ре, – сказал Игнатий.

Лариска опять уставилась в ноты, на правую руку, на левую.

– Пустите, – сказал Игнатий.

Согнал Лариску, сел на ее место. Он не преследовал педагогических целей своим показом. Просто ему надоела Ларискина бездарность, захотелось поиграть самому.

Игнатий играл чисто и строго, прячась в музыке от вторников своей жизни.

Это был хороший, умный пианист. Я понимала, что здесь, в училище, он сидит не на своем месте и занимается не своим делом.

Лариска молчала, отчужденная от Игнатия своим унижением. Она понимала, что проиграла великую войну полов, не успев ее развязать.

– В следующий раз то же самое! – сказал Игнатий Лариске и встал.

Дальше была моя очередь.

Я раскрыла оркестровую партитуру «Ромео и Джульетты» Чайковского. Программу я прошла давно и играла на уроках целые оперные клавиры, свободно ориентируясь в тучах восьмушек и шестнадцатых.

Я уверена: когда Чайковский писал тему любви, четвертый такт, что-то смялось в его душе, он не мог продыхнуть. Я тоже в том месте не могу продыхнуть и погружаю свое смятение в средний регистр.

Игнатий хлопнул в ладоши. Я сняла руки с клавиш.

– Попробуйте в этом месте сыграть наоборот, – попросил он.

– Как? – не поняла я.

– Играйте любовь, как смерть, а смерть – как любовь.

– Почему?

– Потому что любовь всегда сильнее человека. А смерть – инъекция счастья.

Я не очень поняла, но перевернула несколько страниц обратно и стала играть сначала.

Игнатий подтащил свой стул к моему, забрал у меня два верхних голоса, оккупировал половину клавиатуры. Мы играли в четыре руки, толкаясь локтями.

За окном шел дождь.

Звуки не впитывались в стены, а отражались от них, и весь наш класс был наполнен любовью, как смерть, и смертью, как любовью.

Лариска выросла глазами в профиль Игнатия, и, если бы ей предложили пожертвовать для него почку, она не задумываясь отдала бы две.

На другом берегу стояла Петропавловская крепость. Пристани речных трамвайчиков были занесены снегом и походили на ларьки.

Мы медленно брели в сторону Летнего сада. С Невы дул промозглый ветер, но в нем уже плавали ионы весны.

– У него лицо переделено на три части, – сказала Лариска. – Купол лба, брови и глаза – это его духовность. Нос – мужественность, у него профиль императора. А губы и подбородок – это его эгоцентризм и жестокость. Ты обратила внимание, какой у него омерзительный рот!

Лариска остановилась, и я тоже вынуждена была остановиться и честно вспоминать, какой у Игнатия нос, рот и купол лба.

– И-г-н-а-т-и-й! – выговорила Лариска. – Послушай: только гласные и мягкие согласные. Какое нежное и мужественное сочетание. Простое и породистое. По-испански это звучит Игнасьо.

– А по-русски Игнат, – дополнила я.

– Дура! – с превосходством сказала Лариска.

Я обиделась, но промолчала.

– А ты заметила, как он смеется? Как будто произносит букву «т». Т-т-т-т-т...

– Отстань! – потребовала я.

– А как ты думаешь, я ему хоть немножко нравлюсь?

– Нравишься, нравишься...

– А с чего ты взяла?

– Вижу!

– А как это заметно?

– Он бронзовеет, – определила я, подразумевая под этим неприступность Игнатия и его цвет лица.

Мы вошли в Летний сад. Статуи стояли закутанные в белое, как в саваны.

– Какие молодцы! – похвалила Лариска.

– Кто?

– Древние греки. И те, кто разбил Летний сад. Они ведь его не себе делали, а нам.

– И себе тоже.

– Себе чуть-чуть...

Мы подошли к прудам. Лед был серый, набухший весной. Я мысленно поставила на лед ногу, мысленно провалилась и мысленно содрогнулась.

Лариска смотрела на лед яркими незрячими глазами. У нее были свои ассоциации.

– Представляешь... – проговорила она. – Океан, ночь, вода черная, небо черное, горизонта не видно. Сплошная чернота, будто земной шар на боку... Не поймешь, где вода, где воздух... И вдруг рарака засветится точечкой, и сразу понятно: вот небо, вот море. Просто сейчас ночь, а будет утро...

– А что это – «рарака»?

– Морской светлячок. В море живет.

Я не понимала, какое отношение это имеет к Игнатию, но обязательно должно было как-то его касаться, потому что вне Игнатия не существовало ничего.

– Он моя рарака, – сказала Лариска. – Если он есть, я обязательно выплыву... Конечно, мне до него как до Турции. Но я буду плыть к нему всю жизнь, пока не помру где-нибудь на полдороге.

– Счастливая! – позавидовала я. – Знаешь, куда тебе плыть.

– И ты знаешь, – серьезно сказала Лариска. – У тебя своя рарака. Талант.

– А что мне с него?

– Другим хорошо.

– Так ведь это другим.

– Ты будешь жечь свой костер для людей. Как древние греки. В этом твое назначение.

– Значит, я буду жечь костер, а ты около него греться?

– У меня свой костер, – сказала Лариска. – Костер любви.

Подул ветер, вздыбил челку над чистым Ларискиным лбом.

Мы побрели по тропинке Летнего сада, где когда-то Лиза встретила на свою голову Германна.

– Давай споем, – предложила я. – Три, четыре...

– А-а-а... – затянули мы с Лариской.

У нас была такая игра: выбросить звук одновременно, как карту, – каждая свой, и слушать, в какой они сплетаются интервал – терция, секунда, секста...

Сегодня получился унисон. Довольно редкое совпадение.

– Давай еще раз, – сказала Лариска.

– А-а-а-а... – затянули мы одновременно.

Снова получился унисон. Мы остановились и засмеялись.

Наверное, наши души были одинаково настроены в этот день, как два камертона, и отзывались Летнему саду одинаковым числом колебаний.

У Баха было двадцать один человек детей: семь от первой жены и четырнадцать от второй. Эти дети, должно быть, шуршали за стеной, как мухи в кулаке. А Бах уходил в свою комнату, снимал парик и баловался на клавишине.

Я не думаю, чтобы его одолевали сильные страсти, восторги упоения. Он раскладывал свою полифонию интуитивно, как гений, и точно, как математик. Поэтому я не люблю играть Баха с педалью.

Я сидела дома, играла Баха и ждала Лариску. Сегодня Лариска должна была объявить Игнатию о своей любви и послушать, что он скажет в ответ.

Я осталась дома, чтобы не являться на чтение партитур. А чтобы мой прогул не выглядел нарочитым, я не пошла в училище вообще.

В дверь позвонили. Это с войны полов явилась Лариска с трофеями.

Она медленно переступила через порог, вошла в прихожую. Качнулась к стене и припала лицом к обоям.

– Перестань грызть стену, – сказала я. – Что случилось?

Лариска молчала. Она стояла, раскинув руки, как Христос, если бы его прислонили к кресту не затылком, а лицом.

– Что случилось? – испугалась я.

Лариска не пошевелилась.

– Ну, что? – допытывалась я.

– Ничего, – вдруг спокойно проговорила Лариска и отошла от стены. – Я играла, потом перестала играть. Он спросил: «Чего же вы остановились?»

– А ты?

– Я стала играть дальше и доиграла до конца.

– А потом?

– Потом был звонок.

– И ты ничего не сказала?

– Он запретил.

– Как? – не поняла я.

– Глазами. Он так посмотрел, что я ничего не могла сказать.

Лариска говорила тихо и без выражения. У нее не было сил раскрашивать текст интонациями.

– Поешь чего-нибудь, – сказала я.

– Не могу... – прошептала Лариска. Губы у нее были серые.

– Тебе плохо? – испугалась я.

– Нет. Мне никак!

Я привела ее в комнату и уложила на диван. Дала под голову подушку, а сверху кинула плед.

– Твои скоро вернутся? – спросила Лариска.

– У них дежурство.

Лариска съежилась и закрыла глаза. Ресницы ее легли на щеки.

– Мне уйти? – спросила я.

Лариска потрясла головой, не открывая глаз.

Я села к роялю и стала тихо играть Баха.

Лариска открыла глаза и долго глядела перед собой.

Потом забормотала: «Не думать, не думать, не думать, не думать...»

Я перестала играть и спросила:

– Ты сошла с ума?

– Нет, – сказала Лариска. – Это моя гимнастика. Я каждое утро просыпаюсь – и как молитву: «Мужество, мужество, мужество...» Раз пятьсот. И перед сном тоже: «Надежда, надежда, надежда, надежда...»

Лариска заплакала. Из глаз на подушку поползли слезы. Эти слезы были такие горячие и горючие, что, мне казалось, прожгут насквозь подушку и диван.

– Господи! – вздохнула я. – Да ты оглянись по сторонам. Сколько вокруг настоящих мужчин, которые только и мечтают, чтобы их прибрала к рукам такая девчонка, как ты. Что ты вцепилась в этого Игнатия? У него и рожа-то желтая, как лимон за двадцать пять копеек.

– Я не могу лишиться его своей любви, – сказала Лариска. – Может быть, это единственное, что у него есть. Он так одинок...

– А зачем ему твоя любовь?

– А зачем рака в море? Роса на траве?

На улице раздался выстрел – должно быть, лопнула на ходу камера у грузовика.

Лариска вздрогнула, быстро села.

– Это он... – проговорила она.

Я посмотрела на нее внимательно и поняла, что она в некотором роде сошла с ума.

– Может быть, он любит тебя, но скрывает свои истинные чувства. Может быть, у него принципы, – предположила я.

Лариска возвела на меня глаза. Она не понимала, что это за принципы, во имя которых холостой человек должен скрывать свои истинные чувства.

– Он учитель, ты ученица, – растолковывала я. – Получается, он использует свое служебное положение. Это безнравственно.

Лариска спустила ноги с дивана и стала обуваться.

– Ты куда? – растерялась я.

– К нему. Я знаю, где он живет.

– Зачем ты к нему пойдешь?

– Я скажу: если он хочет, я брошу училище. Плевать мне на это училище!

– Тебя родители выгонят из дома.

– А мне не нужен дом, в котором нет его.

– Я тебя не пушу!

– Ты пойдешь со мной!

– Это нескромно, – попыталась я образумить Лариску. – Явилась – навитая, раскрашенная... Он первый тебя осудит. Мужчины ценят скромность!

Лариска вышла из комнаты. Я услышала, как в ванной яростно плещется вода.

Прошла минута, две, и в комнату вернулась уже не Лариска, а ее сестра из деревни Филимоново: волосы мокрые, гладкие, прижаты к темени и заправлены за уши. Открытый лоб, глаза без ресниц вообще.

– Ну как? – весело спросила Лариска, вытирая полотенцем мокрую шею.

Я молчала, ошеломленная переменой.

– Я готова! – объявила Лариска.

– Подожди... – взмолилась я, но это было равносильно тому, как если бы я обратилась к падающему самолету, вошедшему в штопор.

Памятник Гоголю был припорошен легко ссыпавшимся снегом, и на унылых бронзовых волосах лежала белая шапка.

Лариска шагала, покрыв голову двумя платками, истово глядя перед собой. Мы шли, как в разведку: не было ни прошлого, ни будущего, только настоящее, только ощущение опасности.

– Жди меня здесь, – приказала Лариска и скрылась во мгле парадного.

Я осмотрелась по сторонам. Дом был кирпичный, красный. Стена в наступающих сумерках казалась какой-то зловещей. Возле таких стен расстреливают заложников.

Снег шел хорошо. Деревья стояли будто обсахаренные. Поблескивали полосы трамвайных рельсов.

Я ждала Лариску и думала о том, что она сошла с ума, а я не в состоянии сойти с узкоколейки своей трезвости. Я молода и красива, на третьем месте по красоте. Но почему-то такие редкие, ценные обстоятельства, как молодость и красота, не дают мне никаких преимуществ. Я живу, как старуха, с той только разницей, что у меня впереди больше лет жизни. Значит, я дольше буду играть и любить своих родителей.

Я ждала Лариску, и мне тоже хотелось сильных, шекспировских страстей, хотелось бежать к кому-нибудь по морозу с мокрой головой и бросать ему под ноги свое хрупкое существование.

Появилась Лариска.

– Никто не открывает, – сказала она.

– Значит, его нет дома.

– А может, он прячется?

– Он ведь не знает, что ты придешь. Ты ведь не предупреждала.

– А как ты думаешь, он вернется?

– Конечно! Куда же он денется!

– А вдруг у него кто-то есть? – В Ларискиных глазах остановился ужас.

– Тогда бы он женился, – сказала я. – Ведь он свободен.

– А может, она не свободна?

– Значит, это не имеет никакого отношения к любви.

Лариска обняла себя за плечи, чтобы не дрожать крупно.

– Ты простудишься, – предсказала я.

– А как ты думаешь, если я простужусь и умру, что он сделает?

– Напьется, – предположила я.

– Правда? – обрадовалась Лариска.

– Напьется и заплачет, – пообещала я.

– Мой образ будет со временем высветляться в его памяти, и он влюбится в свою потерю.

– Подожди, может, еще и так влюбится.

Мы с Лариской брели вдоль красной стены. Мимо прошла очень высокая собака. Она шла и знала, что все на нее смотрят.

Лариска подняла голову.

– Смотри! – сказала она.

– Куда?

Я тоже подняла голову. В небе шло неясное брожение, как в кастрюле с закипающим супом. Мы стояли с Лариской, как две бесполезные косточки на дне кастрюли мироздания. Какой от нас навар...

– Видишь? – спросила Лариска. – Это моя нежность и печаль.

– Где? – Я вглядывалась в перистые облака, которые двигались, перемещались.

– Человеческие чувства и голоса не рассеиваются, а поднимаются в небо, – объяснила мне Лариска. – А оттуда передаются в более высокие слои атмосферы.

– Может быть, сейчас где-нибудь в галактиках бродит голос Калининкова...

Мы стояли, чуть покачиваясь, и смотрели, как выглядит Ларискина печаль. Она каждую секунду была разной.

Потом мы опустили головы и одновременно увидели Игнатия. В короткой дубленке, он быстро шел, глядя перед собой. Прошел, обогнув нас, не заметив.

– Игнатий Петрович! – вскрикнула Лариска, будто в нее выстрелили.

Он обернулся. Она подошла к нему, медленным самоотверженным движением стянула оба платка на воротник.

– Лариса? – удивился Игнатий. – Я вас и не узнал. А что вы здесь делаете?

Лариска смотрела на купол его лба, в стихийное бедствие его глаз.

– А я тут рядом живу, – проговорила она.

– Понятно...

Помолчали. Потом Игнатий сказал:

– Вы совершенно не готовитесь к занятиям, мы только напрасно теряем время. Я поговорю в учебной части, пусть вас переведут к Самусенке... Доброй ночи!

Он повернулся и пошел к своему парадному.

Лариска медленно тронулась за ним. Потом побежала.

Игнатий остановился и сказал, не оборачиваясь:

– Я слышу ваши шаги. Не ходите за мной, потому что я вынужден буду проводить вас, а я очень устал...

Когда я подошла к Лариске, она стояла как каменная, и ее новое лицо не выражало ничего.

– Пойдем! – Я покрыла ее платками и подняла воротник. – Если бы ты ему не нравилась, он не переводил бы тебя к Самусенке.

– Оставь меня. Я хочу побыть одна.

– Что ты собираешься делать? – испугалась я.

– Ничего, – гордо сказала Лариска. – Перейду к Самусенке.

Наш поход в разведку окончился расстрелом возле каменной стены.

Лариска ушла. Я осталась одна против дома Игнатия. Мне хотелось подняться к нему и спросить: «Ну почему? Почему? Почему?»

Говорят, для того чтобы прыгнуть с трамвая, необходимо выполнить три пункта инструкции:

1. Встать на подножку и сконцентрировать в себе состояние готовности к прыжку.

2. Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта.

3. Игнорируя свистки милиционера, перебежать дорогу и скрыться за дверьми родного училища.

После того как ты спрыгнул, не попал под колеса и убежал от милиционера, после того как ты уцелел, особенно остро чувствуешь аромат жизни, ее первоначальные свойства, стертые каждодневной обыденностью.

У японцев есть соус, который они добавляют в еду. Этот соус усиливает и проявляет вкус предлагаемой пищи: мясо как бы становится еще более мясным, а рыба – рыбной, и у японца не возникает сомнения, что он ест именно рыбу и ничто другое.

Риск – это своего рода жизненный соус. Я прыгаю с трамвая не для того, чтобы острее ощутить радость бытия. Просто наше училище стоит на полдороге между двумя трамвайными остановками, и я выбираю наиболее короткий путь.

Я прибежала на чтение партитур и разложила ноты.

Оттого что пианино было старое – ему лет сто, а помещение мрачноватое – раньше здесь жил угрюмый купец, – еще светлее и белее выглядел белый свет за окном.

Игнатий вошел почти следом за мной. Вид у него был оживленный, взъерошенный, как будто он тоже только что спрыгнул с трамвая на полном ходу.

Он подтащил стул к инструменту и потер руки, как бы готовясь к пиру своего самоутверждения. Я была его лучшей ученицей, смыслом его пребывания в училище, и, видимо, он очень нравился себе в моем обществе.

У нас было сорок пять минут – двадцать три мои и двадцать две Ларискины.

Я открыла пролог «Снегурочки», посмотрела на Игнатия. Его лицо было близко, и я вдруг увидела, что оно действительно переделено на три части.

Купол лба, щедрый размах бровей и сильные глаза веселого самоубийцы – это его духовность. Нос – мужественность. Рот – жестокость. Все это ему действительно принадлежало, но было открыто не мной. Мне стало казаться, что Лариска стоит за дверью, прижавшись спиной к стене. У меня появилось ощущение, будто я надела краденую вещь и встретила хозяина.

Я стала смотреть в ноты.

– Начнем, пожалуй... – поторопил меня Игнатий.

Я перевела глаза с нот на клавиши, а с клавиш на колени.

– Что произошло? – спросил Игнатий.

Действительно, что произошло?

Игнатий не просил Лариску любить его, она сама его любила, и его вины здесь не было никакой. Но Лариска любила его так красиво, так талантливо. И это не пригодилось. И теперь неприкаянная Ларискина любовь плавает над крышами. А Игнатий сидит, как сидел, и его лицо по-прежнему переделено на три части. А я, ее подруга и вместилище тайн, сижу на ее месте и занимаю ее самые главные двадцать две минуты.

– Что с вами? – удивился Игнатий.

– Я больше не буду ходить на чтение партитур, – сказала я, исследуя переплетение чулка на своем колене.

– Почему?

– Потому что я буду занята основным предметом. Через месяц – диплом.

Игнатий поднялся и отошел к подоконнику – должно быть, ему удобнее было издалека смотреть на меня.

Мне тоже так было удобнее. Я подняла на него глаза и по полоске его сомкнутого рта увидела, что он оскорблен.

Мы молчали минут пять, и у меня звенело в ушах от напряжения.

– Почему вы молчите? – спросила я.

– А что вы хотите, чтобы я сказал? – спросил Игнатий.

Я пожалала плечами, и мы снова замолчали трагически надолго.

– Если вас волнует, что я пожалуюсь в деканат, можете быть спокойны: жаловаться я не буду. Но здороваться с вами я тоже не буду.

– Пожалуйста, – сказала я.

С тех пор мы не здоровались.

С Лариской, как ни странно, мы тоже сильно отдалились друг от друга.

Она не хотела возвращаться мыслями ни в Летний сад, ни к красной стене, и Лариска избегала меня, интуитивно подчиняясь закону самосохранения.

Однажды мы столкнулись с ней в раздевалке и вышли вместе.

– Я больше не хожу на партитуры, – сказала я.

– Напрасно... – самолюбиво ответила Лариска.

На ее лбу сидел фурункул, величиной с грецкий орех. Я вспомнила, что она живет в Ленинграде без родных, снимает угол и ест от случая к случаю.

– Ну, как ты? – неопределенно спросила я, давая возможность Лариске ответить так же неопределенно, вроде: «спасибо» или «хорошо».

– Плохо, – сказала Лариска.

Она одарила меня откровенностью за то, что я приняла ее сторону, перестала ходить к Игнатию.

– Я все время оглаживаю себя, успокаиваю, как ребенка, – сказала Лариска. – Но иногда мне хочется закричать... Я только боюсь, что, если закричу, земной шар с оси сорвется.

– А Лерик? – спросила я.

– При чем тут Лерик?

После вручения дипломов был концерт.

Когда я вышла на сцену, обратила внимание: пол сцены, ее основание, выстлан досками, и мне показалось, будто я вышла на рабочую строительную площадку.

Я увидела зал, приподнятые лица, преобладающие цвета – черно-белые.

Я видела клавиши, бесстрастный черно-белый ряд. А дальше не видела ничего.

Я села за рояль. На мне платье без рукавов. Мне кажется, что рукав, полоска ткани, отъединит меня от зала. А сейчас мне не мешает ничего.

Я взяла первую октаву в басах.

Я держу октаву, концентрирую в себе состояние готовности к прыжку.

Во мгле моего подсознания светящейся точкой вспыхнула рарака, я оторвалась от поручней и полетела под все колеса.

Я играла, и это все, что у меня было, есть и будет: мои родители и дети, мои корни и мое бессмертие.

Когда я потом встала из-за рояля и кланялась, меня не было. Меня будто вычерпали изнутри половником, осталась одна оболочка.

За кулисами ко мне подошла Лариска и сказала:

– Ну как ты вышла?

Ей не нравилось мое платье. Она вздохнула и добавила:

– Эх, если бы я могла выйти, уж я бы вышла...

Дело было в том, что она могла выйти, а я могла играть.

После концерта начались танцы.

Оркестр был составлен из студентов и преподавателей. За роялем сидел наш хормейстер Павел, с точки зрения непосвященных, шпарил как бог. В обнимку с контрабасом стояла Тамара, которая занимала в училище первое место по красоте. А на ударниках со своей идеальной конструкцией плеч восседал Игнатий. Лицо у него было наивное и торжественное, как у мальчика, – видно, ему там нравилось.

Лариска пришла на выпускной вечер с известным молодым киноартистом, которого она одолжила у кого-то на несколько часов. Его портретами был оклеен весь город.

Киноартисту дана была актерская задача: играть влюбленность, он не сводил с Лариски своих красивых бежевых глаз.

Лариска была блистательна, вся в чем-то красно-белом, гофрированном, хрустящем, как бумажный китайский фонарь. Выражение ее лица было таким, будто у нее полные карманы динамита.

Игнатий взмахнул палочками: раз-два, три... раз, два, три... Первая... пятая...

Лариска вцепилась в киноартиста, и их вынесло первой парой на самую середину зала.

Киноартист чуть-чуть сутулился над Лариской, а она, наоборот, откинулась от него, ее оттягивала центробежная сила. Он был прекрасен, как гений чистой красоты, и не сводил с Лариски глаз, а она – с него. Все было так красиво и убедительно, что хоть бери кинокамеру и снимай кино.

Постепенно вальс заразил всех, и через минуту все задвигались, заколыхались, негде было яблоку упасть.

Я стояла возле стены, меня никто не приглашал. Может быть, мужчины побаивались моей избранности, исключительности. А может быть, рассудили: раз я умею так хорошо играть на рояле, значит, мне и без танцев хорошо.

Вдруг я заметила, что Лариска танцует не с киноартистом, а с Гонорской, нашей преподавательницей по музыкальной литературе.

Гонорская – округлая и широкая в талии, как рыба камбала. Если меня когда-нибудь постигнет такая талия, я просто буду срезать с нее куски.

Лариска с Гонорской держались друг за дружку, но не танцевали, а стояли на месте и цепляли ногами. Им, наверное, обоим казалось, что они танцуют. Их неподвижность особенно бросалась в глаза на движущемся фоне.

Потом Лариска отделилась от Гонорской, нашла меня глазами и ринулась в мою сторону, прорезая толпу, как ледокол «Ермак». Лицо у нее стало совсем маленькое, все ушло в глаза. А глаза – огромные, почти черные от широких зрачков.

– Ты знаешь, что мне сказала Гонорская?

Я должна была спросить: «Что?» Но я молчала, потому что знала: Лариска и так выложит.

– Она сказала, что Игнатий не женится никогда. Ни на ком.

– Почему?

– Потому что он выжженное поле, на котором ничего не взрастет...

Я ничего не поняла.

– Представляешь? Какое счастье! Теперь он никому не достанется, а я его еще больше буду любить!

Лариска закусила губу. Ее брови задрожали, и из глаз в три ручья хлынули несоленые, легкие, счастливые слезы.

К нам пробрался киноартист.

– Танго... – интимно сказал он Лариске, и в его исполнении это слово звучало особенно томно и иностранно.

– Да отвяжись ты, чеснок! – выговорила Лариска и помчалась куда-то к выходу, победно полыхая красным и белым, будто факел, зажженный от костра любви.

Киноартист профессионально скрыл свои истинные чувства, спокойно посмотрел на меня и спросил:

– Хочешь, спляшем?

Я положила руку с куцыми ногтями пианистки на его плечо и двинулась с места.

Было тесно и душно. Меня толкали в бока и в спину. Я была неповоротлива, как баржа, – а танго тягостное и бесконечное, как ночь перед операцией.

Игнатий сидел выше всех, среди своих барабанов, и над его стройной макушкой мерцал нимб его непостижимости.

Прошло тринадцать лет.

Я стала тем, кем хотела: окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом всех международных конкурсов и объездила весь мир. Не была только в Австралии.

Лариска тоже стала тем, кем хотела: вышла замуж за военного инженера, москвича, родила троих детей. Инженер демобилизовался, и теперь они живут в Москве.

Я с ней не вижусь, как-то не выходит. Знаю только, что ее новая фамилия Демиденко и живет она на проспекте Вернадского.

Однажды я получила из нашего училища письмо с приглашением на юбилей. Оно начиналось так: «Уважаемая Тамара Григорьевна!»

Видимо, в конверт с моим адресом вложили письмо Тамаре, той, что на первом месте по красоте. Значит, мое письмо попало к ней.

Я долго смотрела на конверт, на письмо, потом ни с того ни с сего оделась, вышла на улицу, взяла в Горсправке Ларискин адрес и поехала к ней домой.

Ларискин дом был девятиэтажный, стоял возле искусственных прудов.

Дверь отворила Лариска.

Она была красива, но иначе, чем прежде. Время подействовало на нас по-разному: Лариска раздалась в плечах и в бедрах, а я, наоборот, съежилась, как говорят мои родители, удачно мумифицировалась.

Мы узнали друг друга в ту же секунду и не могли двинуться с места. Я стояла по одну сторону порога, Лариска – по другую, обе парализованные, с вытаращенными глазами, как будто нас опустили в ледяную воду.

Потом Лариска перевела дух и сказала:

– Ну, ты даешь!

Я тоже очнулась, вошла в прихожую, сняла шубу. И все вдруг стало легко и обыденно, как будто мы расстались только вчера или даже сегодня утром.

В прихожую вышла девочка лет восьми, беленькая, очаровательная.

– Это моя дочь. А это тетя Кира, – представила нас Лариска.

– Тетя Кира, вы очень модная! – сказала мне девочка и обратилась к матери: – Дай мне рубль!

– Зачем?

– Я должна сходить в галантерею, у нашей учительницы завтра праздник.

– Сделаешь уроки, потом пойдешь! – распорядилась Лариска.

Средняя дочь была в детском саду, или, как выразилась Лариска, ушла на работу.

Младшая девочка спала на балконе, ей было пять месяцев. Лариска сказала, что вчера она научилась смеяться и целый день смеялась, а сегодня целый день спит, отдыхает от познанной эмоции.

– Еще будешь рожать? – спросила я.

– Мальчишку хочется, – неопределенно сказала Лариска.

– А зачем так много?

– Из любопытства. Интересно в рожу заглянуть, какой получится.

– Дети – это надолго, – сказала я. – Всю жизнь будешь им в рожи заглядывать, больше ничего и не увидишь.

– А чего я не увижу? Гонолулу? Так я ее по телевизору посмотрю. В передаче «Клуб кинопутешествий».

– А костер любви? – спросила я.

– Я посажу вокруг него своих детей.

Лариска достала вино в красивой оплетенной бутылке, поставила на стол пельмени, которые она сама приготовила из трех сортов мяса. Пельмени были очень вкусные и красивые.

– Все деньги на еду уходят, – сказала Лариска. – Мой муж сто килограммов весит...

– Такой толстый?

– У него рост – метр девяносто шесть, так что килограммы не особенно видны. Вообще, конечно, здоровый... – созналась Лариска.

– А чем он занимается?

– Думаешь, я знаю?

Лариска разлила вино.

– За что выпьем? – Она посмотрела на меня весело и твердо.

– За Игнатия!

– Да ну...

– Что значит «да ну»? Собиралась плыть до него, как до Турции.

– Ну и доплыла бы, и что бы было? – Лариска поставила на меня свои глаза.

Вошла девочка с тетрадью.

– У меня «у» не соединяется, – сказала она.

Лариска взяла у нее тетрадь.

– Ты следующую букву подвинь поближе.

Девочка смотрела на меня.

– Да куда ты смотришь? Сюда смотри! Видишь, хвостик от «у»? Он должен утыкаться прямо в бок следующей букве. Поняла?

Девочка взяла тетрадку и кокетливо зашагала из комнаты.

– Гонорскую помнишь? – спросила я. – Вышла замуж за Игнатия.

Лариса опять поставила на меня свои глаза и держала их долго – дольше, чем возможно. Потом выпила полстакана залпом, будто запила лекарство, и пошла из комнаты.

– А ты почему развелась? – крикнула Лариска.

– Профессия развела! – крикнула я. – Я ведь все время играю, на семью времени не остается.

– Разве нельзя и то и это?

– Может, можно, но у меня не получается.

– Ну и дура! – сказала Лариска, возвратившись с кофе. – Подумаешь: Франция, Америка... А заболеешь – стакан воды подать некому.

– Это да... – согласилась я.

– Французы послушают твой концерт, похлопают и разойдутся каждый к себе домой. А ты – в пустую гостиницу. Очень интересно!

Лариска села к столу и снова разлила вино по стаканам.

– За что?

– За рараку! – сказала я.

Вошла девочка, протянула Лариске тетрадку.

– Я тебе покажу галантерею! – заорала Лариска напряженным басом. – Только об этом и думаешь! Никуда не пойдешь!

Она хлестнула девочку тетрадкой по уху, смяв тетрадь. Девочка втянула голову, дрожала ресницами и не отрываясь смотрела на меня. Ей было тяжело терпеть унижение при посторонних.

На балконе проснулся и закричал ребенок, не то засмеялся, не то заплакал.

– Я пойду, – сказала я и встала.

Лариска отшвырнула старшую дочку и вышла со мной в прихожую. Два красных пятна расцвели на ее щеках.

– Будешь за границей, привези мне парик, – попросила Лариска. – Причесаться некогда с этими паразитами!

Больше мы не виделись.

Через восемь месяцев я уехала в Австралию.

В Австралии все было абсолютно так же, как и в других странах: сцена – моя рабочая площадка. Приподнятые лица. Преобладающие цвета – черно-белые. Хрустальная люстра, сверкающая всеми огнями, существующими в спектре.

Я сначала все это вижу, потом не вижу. Сосредоточиваюсь на клавишах и жду, когда во мгле моего подсознания золотой точкой вспыхнет рарака и я разожгу от нее свой костер. Потом я обливаюсь керосином и встаю в этот костер, чтобы он горел выше и ярче. А незнакомые люди с приподнятыми лицами сидят и греются возле моего костра, притихшие и принаряженные, как дети.

Австралийцы долго хлопали. Я долго кланялась.

А дальше все было так, как предсказывала Лариска: австралийцы встали и разошлись по домам. А я поехала в гостиницу и легла спать.

Пираты в далеких морях

«Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типоразмеру...»

Я стал думать, как перевести на английский язык «типоразмер», но в это время в мою дверь позвонили.

Я отворил дверь и увидел соседку с девятого этажа по имени Тамара: Тамара сказала, что завтра в девять утра ей необходимо быть в больнице и чтобы я ее туда отвез.

Мне захотелось спросить: «А почему я?» С Тамарой мы живем в одном подъезде, но встречаемся крайне редко, примерно раз в месяц возле почтового ящика. У меня квартира номер 89, а у Тамары 98, и почтальон часто бросает мою корреспонденцию в Тамарин ящик. И наоборот. Это единственное, что нас связывает, и совершенно неясно – почему в больницу с Тамарой должен ехать я, а не ее муж.

– А почему я? – спросил я.

Тамара задумалась, обдумывая мой вопрос, потом подняла на меня глаза и спросила:

– Значит, не повезешь?

Я смутился. Я понял: если я сейчас скажу «нет», Тамара повернется и уйдет, а у меня будет плохо на душе и я не смогу работать. Как нервный человек, я услышу Тамарины претензии, я стану мысленно на них отвечать и пропущу время, в которое я засыпаю, а потом не смогу его догнать. Я начну гулко вздыхать и думать. Причем думать не впрок, например на завтра, а задним числом. Я продумаю уже произнесенные слова и уже совершенные поступки. На все это уйдет ночь, следующий день, выброшенный из работы, плюс полкилометра нервов. А на то, чтобы отвезти Тамару в больницу и вернуться, уйдет два часа. Два часа плюс ощущение нравственного комфорта.

– Пожалуйста, – сказал я. – Я отвезу.

– В восемь тридцать. Внизу, – уточнила Тамара и ушла.

Я совершенно не умею отказывать, если меня о чем-то просят. В медицине это называется: «гипертрофия обратной связи». Это значит: в общении с другим человеком я полностью ставлю себя на место партнера и забываю о своих интересах.

Очень может быть, что в моем роду какой-нибудь далекий предок был страшный хам. И моя деликатность – это как бы компенсация природе, действующей по закону высшего равновесия. Я плачу природе долг за своего предка.

Я лег спать и скоро заснул с ощущением нравственного комфорта. А Тамарин муж, должно быть, заснул возле толстой и красивой Тамары с ощущением нравственного дискомфорта и человеческой несостоятельности.

Больница находилась у черта на рогах.

Я притормозил машину возле вывески.

– Пойдем со мной! – велела Тамара.

– Я лучше тебя здесь подожду, – уклонился я. – Я боюсь.

– Значит, тебе страшно, а мне нет.

– А зачем ты сюда приехала? – спросил я.

– Мне надо исключить, – хмуро ответила Тамара.

– А в другом месте нельзя исключить?

– Здесь специалисты лучше.

Тамара вылезла из машины и пошла к каменной широкой лестнице. Я запер машину и поплелся следом за Тамарой, как Орфей за Эвридикой.

Мы вошли в вестибюль.

Тамара взяла в регистратуре какую-то карточку, потом села в какую-то очередь и посадила меня возле себя. Я хотел спросить: долго ли надо сидеть, но постеснялся такого житейского вопроса на таком, в сущности, трагическом фоне.

- Почему муж с тобой не поехал? – спросил я.
- А я и не хочу, чтобы он ехал. Я от него скрываю.
- Почему?
- Муж любит жену здоровую, брат сестру богатую...
- Это если муж и брат – гады, – сказал я с убеждением.
- Почему гады? Нормальные люди. Это нормально.
- Если это нормально, то это ужасно...

Тамара промолчала.

Против меня у другой стены сидел старик. Старик громко шутил и сам смеялся своим шуткам. Его оживления никто не разделял. Люди были брошены в одиночество, как в океан, плыли в нем, хлебная волна, и не видели другого берега. Старик пытался демонстрировать силу духа. Ему не верили. Смотрели серьезно и осуждающе.

Я взял Тамару за руку. Она положила голову мне на плечо.

- Дура я, – сказала Тамара.
 - Почему?
 - Все свою диссертацию кропала. «Гальваномагнитный эффект в кристаллах германия».
- Катка – двоечница, у Левки – вторая жизнь. Я здесь. Вот тебе и эффект...
- Но человек должен куда-то стремиться.
 - Ты правильно живешь. Никуда не лезешь. Вот ты и здоров.
 - Почему не лезу? – обиделся я. – Я – переводчик первой категории.

Тамара хмыкнула. Ход ее мыслей был таков: технические переводчики переводят информацию с одного языка на другой. А сумма знаний остается прежней. Она же, Тамара, создает новую сумму знаний, и, значит, ее жизнь объективно дороже, чем моя. Однако моей бесполезной жизни ничто не угрожает и так далее...

– Ты тоже здорова, – сказал я. – Посмотри на себя в зеркало. Вот исключишь, и пойдем домой. Можем даже бутылку выпить.

– Ты понимаешь, Дима... эта наука – она застит весь свет. Ведь по-настоящему больше ни о чем не думаешь. Ничего не видишь. Утром вскочишь, съешь, что под руку подвернется, – и бежать. Вечером примчишься, перехватишь, чтобы с голоду не помереть, – и за машинку. Ешь, только чтобы загрузить в себя топливо. Ходишь, только чтобы перемещать себя во времени и пространстве. А все мысли там... Как у Мцыри, помнишь? «Я знал одной лишь думы власть, – одну, но пламенную страсть: она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла...»

– Только так и можно что-то сделать, – сказал я. – Это же счастье.

– Может быть. Но как мы себя обворовываем... Ведь можно утром встать и – «Здравствуй, утро!» Борщ сварить, чтобы капуста хрустела. Настоящий борщ – это же симфония! Вечером придет муж: «Здравствуй, муж!» Э... Да что там. Жжем себя во имя ложной цели. А понимаешь, когда уже...

Тамара закрыла глаза и прислонилась затылком к стене.

Веселый старик встал и пошел в кабинет. Следующая очередь была наша.

В углу по диагонали сидела влюбленная пара: старик и старуха. Постаревшие Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Но у них все было без сложностей: Татьяна написала Евгению письмо: «Я к вам пишу...» Евгений получил его, приехал и, вместо отповеди, сделал предложение. Ведь бывает и так. А теперь он заболел, а она сидела рядом и была по-своему счастлива оттого, что душа имеет приют даже в горе. А он чувствовал себя немножко виноватым за то, что сосредоточивает на себе внимание и отбирает покой у любимого человека. На шее у

него висел полосатый пижонский шарф, Евгений и в 70 лет оставался верен себе. Они сидели рядышком, сплетя руки. Я подумал: «Здесь все будет хорошо. Через страдания к радости».

– А вы откуда приехали? – спросила молодая женщина, сидящая через Тамару. Ее губы были накрашены в шесть слоев.

Тамара не ответила. Ей не хотелось общения. А женщине, наоборот, очень хотелось поговорить, но было не с кем.

– А я из Донецка. Вы знаете, этот институт самый лучший в Союзе и даже в мире, сюда очень трудно попасть. Вы по блату?

– Нет, – сказал я. – Законным путем.

– А у вас из-за чего?

Тамаре была неприятна моя общительность, но я не могу не отвечать, когда ко мне обращаются и на меня смотрят.

– А у меня из-за вредного производства, – сказала женщина.

– Надо уйти с производства, – посоветовал я.

– Почему? – искренне удивилась женщина. – Другие же работают. Что, я лучше их?

– Но вы же заболели...

– Ну и что? Они все тоже заболели, – она окинула глазами зал. – Что я, лучше их?

Меня озадачила философия: «как все». Я внимательно смотрел в лицо женщины. В это время подошла Тамарина очередь.

– Пойдем со мной! – Она схватила меня холодной рукой и повела в кабинет.

Молодой серьезный врач что-то писал в истории болезни. Молоденькая медсестра грекала никелированными приборами.

Врач поднял на нас глаза.

– У нее в носу метастаз, – сказал я.

– Сейчас проверим, – пообещал врач.

– Ой! Хоть один веселый больной, – обрадовалась медсестра. – А то все ходят... Э... э... – Она сделала мину, показала, как все ходят.

Медсестре надоело подавленное настроение пациентов, в которое ей приходилось погружать свой день.

Тамара села на стул.

Я вышел из кабинета и вернулся на прежнее место.

– А я, например, и не собираюсь падать духом, – сказала женщина из Донецка. – Я с мамы пример собираюсь брать. У меня знаете какая мама?

Я смотрел, внимая.

– Она во время войны партизанам хлеб давала, так немцы ее дом сожгли с двумя детьми маленькими. А в самом конце войны она на мину наступила, ей ногу оторвало. Так она в сорок шестом году без ноги замуж вышла и меня родила. А сейчас, когда со мной такое случилось, она сюда в Москву приехала меня морально поддерживать. Я сейчас в Третьяковскую галерею пойду... Когда еще теперь в Москву попаду...

Из кабинета вышла медсестра, стала искать кого-то глазами. Увидела веселого старика и пошла к нему.

– Надо еще немного полечиться, – сказала она, подходя.

Старик поднялся ей навстречу. Глаза его напряглись, и лицо полностью перестало быть прежним. Такие напряженные и бессмысленные лица бывают у штангистов, когда они держат над головой непомерную тяжесть. Я не знал, что страх имеет такое же выражение.

Я подошел к кабинету, заглянул в него.

– Кто вас направил? – спрашивал врач у Тамары.

– Районная поликлиника.

– Делать им там нечего! Как будто у нас работы мало... Безобразие, в сущности...

Тамара смотрела на врача влюбленным взором, и чем больше он возмущался, тем сильнее ей нравился.

А врача, видимо, искренне раздражала Тамара, ее пустяковая болезнь, ее груди и живот, похожие на три подушки.

Тамара чмокнула врача в щеку, чего он совершенно не желал, и выскочила в коридор. Схватила меня за руку, и мы помчались в сторону гардероба. Женщина из Донецка проводила нас глазами. Я улыбнулся ей виновато. Я был виноват в том, что уходил, а она оставалась.

Мы оделись и вышли на улицу. Тамара достала два апельсина. Один – мне, другой – себе. Я стал сдирать кожуру зубами, и мой рот наполнился душистой горечью.

День был пасмурный, но сочетание неба и снега на крыше – прекрасно по цвету.

– Здравствуй, день! – крикнул я.

– Ты чего орешь? – удивилась Тамара. – Встал и орет. Едем!

Мы сели в машину.

– К спекулянтке! – велела Тамара. – На улицу Вавилова.

Обретя здоровье, ей захотелось красоты.

Я привез Тамару на улицу Вавилова. Здесь она меня с собой не позвала.

Тамара отсутствовала час или полтора, потом явилась с какой-то конструкцией на ногах, напоминающей каторжные колодки периода Смутного времени. Не хватало только звенящих волочащихся цепей.

Тамара села в машину. Оглядела свое приобретение.

– Что это? – спросил я.

– Колотырки. Как корова на копытах, – определила Тамара.

– Удобно?

– Ну что ты...

– А зачем купила?

– А черт его знает... Модно...

– Сколько? – спросил я.

– Не могу сказать. Стыдно. Совестно вслух произнести.

– Зачем ты поддерживаешь рублем недостойные элементы нашего общества? Это безнравственно.

– Ты шутишь. А ведь это так.

– Я не шучу.

– Ты себе не представляешь: она со мной так разговаривает и держится, как будто это я спекулянтка, а она ученый-физик. Я всю жизнь робею перед нахалами.

Я вывел машину из переулка. Выехал на главную улицу.

По тротуару, полоща юбкой, шла цыганка с цыганенком на руках. На ногах у нее были фетровые боты, на плечах – плюшевая рвань. Но взгляд ее был устремлен куда-то сквозь людей и, как казалось, был объят высоким гордым помыслом.

– Как бы я хотела когда-нибудь пройти вот так... – задумчиво сказала Тамара. – Ни от чего не зависеть: ни от жилья, ни от людей.

– Хиппуй! – предложил я. – Хиппи – интеллигентные цыгане.

– Ну да... – не согласилась Тамара. – В моем-то возрасте. Хиппуют с пятнадцати до двадцати пяти.

– А тебе сколько? – спросил я.

– А ты как думаешь?

– Шестнадцать.

– Правильно, – согласилась Тамара. – Мне всегда будет шестнадцать. Шестнадцать плюс старость. Шестнадцать плюс смерть. В библиотеку!

– Зачем?

- Мне надо материал собрать.
- Ты же собиралась борщ варить, как симфония.
- Борщ сожрут и спасибо не скажут. А мысли останутся. Какой-нибудь тощенький студент лет через сто придет в библиотеку, отыщет мою брошюрку. Изучит. Скажет: «Спасибо, Тамара!» И спасет человечество.
- Почему через сто?
- Может быть, и через год. Придет, а книжки нет. Поехали!

«Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типоразмеру...»

Я стал думать, как перевести на английский язык «номенклатуру» и «типоразмер». В это время раздался телефонный звонок. Мужской голос сказал, что он разводится с женой и чтобы я помог ему перевезти книги. Я спросил:

– А кто это говорит?

Голос сказал:

– Володя.

Я не знал ни одного Володи и спросил:

– Какой Володя?

Голос сказал, что это – мой брат.

У меня действительно есть троюродный брат Володя, но мы разговариваем по телефону раз в семь лет, и я успеваю отвыкнуть от его голоса. В детстве его имя сократили: не «Вова», а «Лодя», и я не могу представить его под другим именем.

– Лодя? – спросил я.

– Ну да, – недовольно отозвался Лодя. Он терпеть не мог этой клички.

Однажды, в том же далеком детстве, мой папа подарил ему чашку с надписью: «Дорогому Лодуське от дяди Юры». Лодя тут же грохнул чашку об пол, за что был побит родителями, не больно, но унижительно.

– Ты не мог бы за мной приехать? – спросил Лодя.

– Я работаю, – сказал я.

Я действительно работаю. У меня задолженность в редакции двадцать четыре листа, что составляет полгода работы. Если сидеть с утра до ночи, не отвлекаясь на сон и на обед, я могу погасить задолженность за полтора месяца. Но для этого необходимо, чтобы меня никто не отвлекал. Однако я не женат, живу вне обязательств, работаю дома, и моим временем распоряжаются по собственному усмотрению.

– Я развожусь, – сказал Лодя. – Мне нужна поддержка.

Когда-то у Лоди была свадьба, но на свадьбу он меня не позвал. Ему это даже в голову не пришло, поскольку родственник я дальний, а народу и без того много.

– Я очень занят, – сказал я.

– Ну неужели ты не можешь отвлечься на полтора часа?

Когда-то мы были маленькие и встречались на днях рождения. Сейчас мы выросли и практически не видимся, за исключением тех случаев, когда кто-то умирает. Когда кто-нибудь умирает – все собираются и узнают друг о друге все новости, тихо, заинтересованно переговариваясь, как ученики во время контрольной. А родственники усопшего строго оглядываются, одергивают глазами.

Я, конечно, мог бы отказать Лодю. Но в отказе я усматриваю предательство детства и общих корней. Ведь я родился не сам по себе. До меня был мой папа, двоюродный брат Лодино папы. Был мой дед, родной брат Лодиного деда. И общий прадед. В сущности, мы из одного древа. Но сегодня духовные и деловые связи сближают людей больше, чем кровные. И

люди живут так, будто они родились не от древа, а сами по себе. И это в конце концов мстит одиночеством.

– Ладно, – сказал я. – Приеду.

– Дом с желтыми лоджиями, – напомнил Лодя. – Я буду стоять внизу.

Я подъехал с Ломоносовского проспекта и остановил машину против дома с желтыми лоджиями.

Лоди не было и близко.

Я выключил мотор. Взял с заднего сиденья папку с рукописями и стал работать, пристроив папку на колено.

...«Типоразмер» можно перевести как два слова – «тип» и «размер». А можно найти третье, которое по смыслу определяло бы «типоразмер». Я стал искать синоним.

За время работы в издательстве я перевел много разнообразных книг: о том, как перевозить бруснику (мы экспортируем бруснику в Италию), как содержать крупный рогатый скот.

Благодаря переводам я осведомлен во многих областях промышленности и сельского хозяйства и могу быть интересным собеседником. Но никто не говорит со мной ни о бруснике, ни о числе единиц оборудования. Всем хочется говорить о странностях любви, а в этом вопросе я вторичен и банален и похож на чеховского Ипполитыча, который утверждает, что Волга впадает в Каспийское море и что спать надо ночью, а не днем.

Мои переводы уходят за границу, и я никогда не встречал ни одного своего читателя. Приехал бы какой-нибудь слаборазвитый капиталист, позвонил мне домой и спросил:

– Это мистер Мазаев?

– Я.

– Спасибо, Мазаев.

– Пожалуйста, – сказал бы я.

И это все, о чем я мечтаю.

Лодя, однако, не появлялся, хотя мы договорились, что он будет ждать меня внизу с узлом или с узлами, в зависимости от того, как они переделают имущество.

Мне надоело сидеть. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в дверь.

Отворила жена брата. Она была бледная, лохматая, охваченная стихией отрицательной страсти.

– Скажи ему... – закричала она мне в лицо, не здороваясь. – Скажи ему, пусть он не забирает у меня дачу. Когда я ее заработаю... Я женщина! У нас ребенок!

Я вошел в комнату. Лодя стоял у окна ко мне спиной, сунув кулаки в карманы. Он был толстый. И в детстве тоже был толстый, с пухлым ртом.

– Отдай ей дачу, – сказал я. – Ты же не будешь там жить.

– Я туда носа не покажу! Я вообще эту дачу ненавижу! Я ее сожгу, но ей не отдам! Сожгу, а не отдам!

Лодя вытащил из кармана один кулак и потряс им над головой.

Я никогда его не видел таким. Лодя был флегма, и мне всегда казалось, что общая температура тела у него 34 градуса, как у медведя в спячке.

– Почему? – спросил я.

– Потому что она профурсетка.

Я пошел на кухню и, пока шел, искал синоним слову «типоразмер». Жена брата стояла посреди кухни и ждала результата переговоров.

– Он не отдаст, – сказал я. – Он говорит, что ты профурсетка.

Жена брата посмотрела на меня глазами, сверкающими от слез. Ее лицо было красивым, одухотворенным от гнева.

– Митя... – тихо сказала она. – Вот ты послушай, что было: мы собирались в гости, он сказал: «Не крась губы, тебе не идет...» А я накрасила, потому что сейчас такая мода.

– Но если тебе не идет...

– Но если такая мода...

Я пошел к брату.

– Она накрасила губы, что тут особенного? – спросил я.

– Дело же не в том, накрасила она их или нет. Дело в том, что она превыше всего любит себя и свои удовольствия! А на меня ей плевать с высокой колокольни! Даже если я завтра попаду под трамвай, она вечером пойдет в кино и будет говорить знакомым, что ей очень тяжело и надо было отвлечься. Это страшный человек, Митя! Ты ее не знаешь! Это – чемпион эгоизма!

Я постоял и пошел на кухню. Квартира была старая, довоенной постройки, коридоры длинные. Я устал ходить туда и обратно.

– Он говорит, что ты чемпион эгоизма, – сказал я жене брата.

– Просто я ему надоела, и ему надо к чему-то придраться. – На ее глазах заблестели слезы. – Я все бросила ради него. Он сломал мою жизнь.

Я вздохнул и пошел в комнату.

– Она ради тебя все бросила. Нехорошо.

– А что у нее было, чтобы жалко было бросить? Это я бросил больных родителей! Будь проклят день, когда я ее встретил. Господи! – Лодя прижал руку к сердцу и поднял глаза к потолку, как святой Себастьян. – Если бы можно было проснуться и ничего не было. Сон. Если бы можно было вернуться туда, в пять лет назад, я за версту обежал бы тот дом, в котором я ее встретил.

– Ладно, – сказал я, – я пошел!

– Куда? – растерялся Лодя и перестал быть похожим на святого Себастьяна. Стал Лодей. – Как это пошел?

– Вы просто любите друг друга. А я как дурак хожу туда-сюда.

Я понял: у них шла борьба за власть. Лодя хотел подчинить жену. А жена отстаивала свои права на индивидуальность.

– Но книги... – Лодя пошел за мной следом.

– Вы помиритесь, и мне придется взять твои книги назад. Я так и буду – туда-сюда... Некогда мне.

Из кухни выскочила жена брата и схватила меня за руку. Пальцы у нее были тонкие, но очень сильные.

– Подожди! – крикнула она.

– Пусть уходит! – крикнул Лодя и, схватив меня за другую руку, потянул к двери.

Я делал шаг вправо, потом два шага влево, в зависимости от того, кто меня дергал: Лодя или его жена. Жена была сильнее, и я побоялся за свой плечевой сустав.

– Больно же... – сказал я.

– Пусть останется, поест! Он же два часа внизу сидел! – сказала жена.

Это было справедливо, но Лодя справедливо боялся, что, если я задержусь, их зыбкие отношения примут прежний крен и тогда Лодя останется без жены, а жена без дачи.

– Не нужна мне твоя дача, – сказала жена, отпуская мою руку.

– Да бери, пожалуйста, – уступил Лодя.

– На что она мне? Сидеть там одной, как сурок...

– Ты одна не будешь. Приятелей много.

– Приятелей много, а ты один.

Жена смотрела на Лодю. Ее губы вспухли от слез, как весенние почки. В глазах стояло солнышко.

– Прости меня, – попросила она. – Я больше не буду красить губы.

– Я не могу простить. Я поклялся здоровьем нашего ребенка. Если я тебя прощу, Бог накажет...

– У Бога столько дел: времена года менять. Баланс в природе поддерживать. Думаешь, ему есть время слушать твои глупые клятвы?

Жена взяла Лодю за руку, и они пошли по коридору. Вошли в комнату и закрыли за собой дверь.

Я хотел было выйти из квартиры, но не знал, как обращаться с замками.

Я заглянул в дверной глазок. Была видна лестница и лифт, уменьшенный оптикой.

Я пошел на кухню и сел на табуретку. Очень хотелось есть. На холодильнике лежала газета. Я раскрыл ее, прочитал: «Производственное объединение «Кзыл-Ту» приступило к серийному изготовлению оригинального термоса для хранения и транспортировки обеда из трех блюд...»

Я вернулся к входной двери и стал энергично орудовать с замками. В какой-то счастливый момент дверь раскрылась. Лестница и лифт явились мне в реальных размерах.

«Стандарт»... Тогда получится: «Подсчитано отдельно по номенклатуре и каждому стандарту». Не годится. Может быть, «индивидуальность». Но слово «индивидуальность» применяется только к одушевленному предмету и не может быть применимо к единице оборудования. Например, моя индивидуальность состоит в отсутствии всякой индивидуальности. Индивидуальность Кире – в том, что она женщина. Главное в ней – это стихия женственности, которая от нее исходит и охватывает людей, зверей и даже неодушевленные предметы. Когда она держит в руке, скажем, ложку, то это уже не просто ложка, а ложка плюс еще что-то, весьма загадочное и вкрадчивое.

Все люди, которых я знаю, где-то работают, что-то делают, сеют разумное, доброе, вечное и по десять лет ходят в одном и том же пальто. Кира – ничего не сеет и одевается по завтрашней моде. У нее есть манера – опаздывать на час и на два. Но если бы Кира совсем забыла о свидании, я все равно ждал бы ее – день, два, неделю – до тех пор, пока она не вышла бы из дома, скажем, за хлебом и не наткнулась на мою машину случайно.

Мимо машины прошли двое: женщина и девочка лет четырех. Глаза у женщины полны слез, а губы девочки упрямо поджаты.

– Это хамство, – обиженно проговорила женщина. – Хамство, и больше ничего!

– Ну и пусть! – ответила девочка.

Я смотрел им вслед. О! Как бы я хотел, чтобы это была моя семья. Вернее, вместо жены – Кира. А в дочках могла бы остаться именно эта юная хамка.

Из подъезда вышла Кира. Я смотрю на нее, и у меня настроение как у мальчика, которого взяли в цирк.

Кира садится в машину. Спрашивает:

– Хочешь яблоко?

– Нет, – отказываюсь я. Потом вспоминаю душистую упругость антоновки и говорю: – Вообще-то хочу...

Кира достает из сумки два яблока: одно для себя, другое, поменьше, – для меня. При всем своем нежелании жить она очень следит за своим здоровьем и не забывает о витаминах.

Я поднимаю очки на лоб и начинаю есть. Она искоса следит за мной, и я вижу, что ей все во мне не нравится.

– Может, пойти работать в штат? – раздумывает Кира.

– Ни в коем случае! – пугаюсь я, потому что не в состоянии совместить эти два понятия: Кира и штат. Потом я думаю о том, что ежедневная служба дисциплинирует ее, и говорю: – А может, тебе действительно пойти в штат...

– Ты когда-нибудь играл сам с собой в бадминтон?

– Как это? – не понимаю я.

– Ну вот ты бросаешь волан. Он летит и падает в траву. Ты подходишь, поднимаешь, возвращаешься на исходную точку. Опять бьешь ракеткой. Волан опять летит и падает в траву. Ты опять идешь, опять подбираешь...

– К чему ты это?

– К тому, что беседа – это тоже игра. Прием и подача. А ведь я одна разговариваю.

– Почему?

– Я спрашиваю: «Хочешь яблоко?» Ты говоришь: «Нет», потом тут же говоришь: «Да». Я спрашиваю: «Идти работать?» Ты говоришь «нет», потом тут же говоришь «да». Ты что, дурак?

Я боюсь сказать «нет», а потом тут же сказать «да».

– Не знаю, – говорю я, – вообще я всегда хорошо учился...

– Господи... – вздыхает Кира.

Я обижаюсь, но не показываю виду. Иначе она скажет: «Никогда не страдай при женщине. Вот придешь домой и страдай сколько хочешь».

Она злится и срывает на мне злость за то, что я – не тот, кто ей нужен. Ей нужен совершенно другой человек, а вместо него я. Со мной ей плохо, но без меня еще хуже. Без меня ей некому будет показывать свою злость и не на ком ее срывать. У нее просто лопнет сердце.

Мы едем за город. Это называется у нас «по огородам». От основного шоссе идет бетонная дорога, по которой никто не ездит и не ходит. Куда она ведет? Откуда она возникла?

– Тебе надо родить, – советую я.

– От кого?

– От меня.

– Я не хочу от тебя. Ты некрасивый.

– Маленький я был очень хорошенький. Хочешь, карточку покажу?

Мы съезжаем с бетонной дороги и несемся куда-то по кочкам, мимо избушек с курами и гусями. Высокий человек в серой кепке провожает нас глазами. Он видит, что нам весело, и ему хочется вместе с нами.

Здесь я даю ей в руки руль и учу ее водить машину. Я учу ее уже два месяца, и она обнаруживает явные способности.

Кира не собирается водить машину, и мое обучение не имеет никакой практической пользы. Просто она выходит ко мне из своей жизни в растерянности, в раздрызгах, а я ее собираю. Я даю ей в руки руль, переключаю ее внимание на движение, на скорость, на повороты, и она забывает обо всем остальном. Она крепко держит руль, глаза ее горят, она похожа на девочку, играющую в лапту. Я люблю ее вместе с ее никчемностью и хамством. Я могу отвезти ее на самое синее море и научить водным лыжам. Я могу отдышать ее, как замерзшую птицу, и в ней не будет больше хамства отчаяния, а будет корректность человека, уверенного в своем завтрашнем дне. Я говорю:

– Выходи за меня замуж.

– Но я не люблю тебя.

Я знаю: она любит другого. Для меня это не новость, и все равно я чувствую, будто мне в грудь положили холодный брусок.

Кира смотрит на меня, и ей меня жаль.

– Ты понимаешь... Я люблю твоё ко мне отношение, но то, что у нас с тобой, это совсем не то.

– Ну да... я понимаю... Но почему вы с ним не поженитесь?

– Потому что он непорядочный человек. В нем нет стремления к порядку. Он предпочитает тотальный хаос отношений.

– Зачем же любить непорядочного человека?

– Он, конечно, бывает низок, как свинья. Но зато он бывает высок, как никто. Я знаю его звездные часы. Это звездный человек. Ты рядом с ним все равно что губная гармошка в сравнении с органом.

Я запираю машину, и мы идем в лес.

Какая красивая осень – прохладная и строгая. Березы нежные, ели значительные. Я углублен в себя и не замечаю этой красоты, но она проникает через глаза, через уши независимо от меня и наполняет тишиной и смирением.

Кира останавливается и смотрит мне в лицо.

– Хочешь, я выйду за тебя замуж?

Я молчу, ожидая подвоха.

– Убей его, – серьезно говорит Кира.

Я вижу, что она не шутит.

– Не могу, – говорю я, тоже серьезно. – С какой стати?

– Ты любишь меня?

– Да.

– Во имя любви.

– Ты считаешь, этого достаточно?

– Сто лет назад этого было вполне достаточно.

– Но он мне ничего не сделал.

– Он иссушил мою душу. Это тоже преступление.

– Попроси кого-нибудь другого, – предлагаю я.

– Другого у меня нет. Только ты.

Такая преданность меня тронула. Я колебался.

– А где я возьму ружье?

– У милиционера, у охотника, в тире – тысяча мест.

Я задумался, глядя сквозь березовые стволы.

– Меня посадят в тюрьму... – торгуюсь я.

– Я приеду к тебе в Сибирь.

– Ты? В Сибирь? – усомнился я.

– А что? Там мало людей и много свежего воздуха.

Я представил себя и Киру в высоких валенках. Мы идем по сугробам, вязнем на каждом шагу, и это нам смешно.

– Ну?

Кира смотрит мне в самые зрачки, как бы подталкивая своим «ну» мою нерешительность.

– Ладно, – вяло соглашаюсь я, поскольку не умею отказывать, когда меня о чем-то просят.

Сработала гипертрофия обратной связи. Хотя, если разобраться, любовь – это и есть та самая гипертрофия, когда интересы другой стороны становятся выше, чем свои.

Мой приятель Гарик говорит обо мне, что я – бассейн на Кропоткинской, который отапливает вселенную.

Гарик, кстати, тоже обладает энергией, способной обогревать вселенную, но топит он за деньги или за обратные услуги. Его жизненная система формируется так: «Я – тебе, ты – мне». В сущности, это удобно и справедливо.

Гарик – гений доставания. Он может достать все, что угодно: югославскую кухню «Катарина», швейную машинку «Веритас», московскую прописку, птичье молоко, живую воду, и если бы Руслану понадобилась Людмила, то ему не пришлось бы лететь по небу за Черномором, рисковать, держась за бороду. Гарик привез бы Людмилу на такси, по указанному адресу и к назначенному сроку. За деньги или за ответную услугу.

Я попросил Гарика достать мне огнестрельное оружие. Гарик сказал, что от него много грохоту, и достал мне цианистый калий по большому благу.

Мы вышли на кухню. Гарик стал отсыпать пол чайной ложки в чисто промытую баночку из-под вазелина. По внешнему виду цианистый калий походил на мелко толченный антрацит. Острые кристаллики отливали коричневым и поблескивали.

– А это не марганцовка? – усомнился я.

– Не пробовал, – сказал Гарик.

– А как проверить?

– Никак.

«В самом деле, – подумал я, – кто будет проверять. Даже если пятьдесят процентов риска, то это тоже очень высокий процент».

– А сколько с тебя взяли?

Я попробовал проверить по цене. Марганцовка стоит одиннадцать копеек. Могли, правда, запросить в десятикратном размере, учитывая дефицит, но и тогда получилось бы только рубль десять.

– Нисколько, – сказал Гарик. – Услуга за услугу.

– А какая услуга?

– Билеты в театр.

– Но это же неравноценно...

– Неизвестно, – заметил Гарик. – Тут спектакль и там...

– А я тебе что должен?

– Будешь переводить мою переписку.

– С кем? – испугался я.

– С частным детективом. Из Англии.

– Но это мелочь... – возразил я.

– Мы же друзья, – напомнил Гарик.

Дружба тоже входила в прейскурант.

Гарик закрыл баночку и сказал, чтобы я не вздумал ее открывать и нюхать. Еще он сказал, что цианистый калий – очень дефицитное средство и, если у меня останется, я должен вернуть все, что останется.

Я положил коробочку в карман и, чтобы не тянуть с этим делом, тут же позвонил «непорядочному человеку».

Трубку долго не снимали. В глубине души я мечтал, чтобы никого не оказалось дома. Но Он был дома.

– Слушаю... – отозвался хриловатый голос много курящего человека.

– Здравствуйте, – поздоровался я.

– Здравствуйте. – Он был вежлив, но я все же чувствовал, что Он торопится и не расположен к длительной беседе с незнакомым человеком.

– Я должен с вами встретиться. У меня к вам дело.

– Какое дело, простите?

– Это ненадолго, – пообещал я. – Это займет у вас...

– Две секунды, – подсказал Гарик, имея в виду эффективность цианистого калия.

– Две секунды, – повторил я.

– Хорошо, – согласился Он. – Приезжайте.

Я ожидал, что мне откроет отрицательный красавец, хозяин жизни, пират в далеких морях, предпочитающий тотальный хаос скучному порядку. Но дверь открыл невысокий лысоватый и рябоватый человек. Большой головой и тонкими ногами он неуловимо напоминал кузнечика, однако в бархатном пиджачке и с печальным взором. Мне показалось, что я ошибся.

– Это вы звонили? – спросил Кузнечик.

– Да. Это я.

– Проходите, пожалуйста.

Я вошел в прихожую. Мне совершенно не хотелось его убивать. Наоборот, мне хотелось что-то для него сделать, например сварить кофе или поджарить картошку. Я просто не представлял себе, как буду выходить из создавшегося положения.

– Я должен перед вами извиниться, – проговорил Кузнечик, – меня срочно вызвали на прослушивание. Я должен бежать. Так что если можно – давайте на ходу и покороче.

Он смотрел мне в лицо мягко и одновременно твердо.

– Я должен вас убить, – сказал я мягко и в то же время твердо, глядя на него осмысленно и с симпатией. Чтобы он не принял меня за сумасшедшего.

Он задумался ненадолго, глядя в пол. Потом пошел в одну из комнат и тут же вернулся с зажигалкой в замшевом чехольчике. Положил ее в карман своего плаща. Он молчал, и это ставило меня в затруднительное положение.

– Почему вы молчите? – спросил я.

– А что я должен сказать? «Пожалуйста» или «Ой, не надо»... Что вы от меня ждете?

– Я не знаю. Мне очень неудобно, – сознался я.

Он поставил ногу на маленькую табуреточку и стал затягивать шнурки на ботинках, а я стоял рядом и смотрел, как он это делает: он выстроил сначала петлю на одном шнурке, потом на другом, а потом переплел эти петли в бантик.

– Как вы странно завязываете, – удивился я.

– В детстве так научили.

Я читал, что из летающих тарелок выходят инопланетные жители, их называют гуманоидами. Они похожи на людей и бывают трех видов: низкие, средние и трехметровые. Может быть, это – гуманоид? Он вышел из тарелки и остался. И скучает по своей планете. Иначе чем объяснить его печальный взор?

– Лично я против вас ничего не имею, – сказал я. – Может, вы сами...

– Что? – Он выпрямился.

– Убьете себя, – прямо сказал я.

– Но мне не хочется, – прямо сказал он.

– Ради Киры...

– Я так и понял: откуда ветер дует.

– Она плачет, – грустно сказал я.

– Она всегда будет плакать. Это характер.

– Может быть. Но одно дело – плакать в свои ладошки, а другое – в мужское плечо.

– Я не могу подставлять плечо. Если я встану на эту стезю, у меня не будет другого занятия, как только подставлять плечо. Я – занятой человек. Я так устал... – вдруг пожаловался он.

– Но она страдает.

– Потому что ей больше нечем заняться. Она бездельница.

– Да. Она бездельница. Но она – ВАША бездельница.

Зазвонил телефон.

– Снимите трубку, – попросил Кузнечик и пошел к себе в кабинет.

– Я слушаю, – отозвался я.

– Кто это? – спросил голос Киры.

– Это я.

– Я тебе через десять минут перезвоню. – Кира бросила трубку.

Я тоже положил трубку. Телефон в ту же секунду зазвонил.

– Я слушаю.

– Это опять ты? Да что это такое, я звоню совсем в другое место, а набираю твой номер.

– Ты правильно набираешь, – сказал я. – Я у него.

– Дурак, – определила Кира. – И шутки твои дурацкие...

Она бросила трубку. Я дождался, пока она снова зазвонила, и сказал:

– Я слушаю...

Кира довольно долго молчала, потом спросила:

– Что ты там делаешь?

– Но мы же договорились...

– О чем мы договорились?

– Что ты приедешь ко мне в Сибирь.

– В какую Сибирь?

– Ты что, забыла?

– О чем?

Хорош бы я был...

Я бросил трубку и побежал по квартире разыскивать Кузнечика. Он стоял у себя в кабинете, торопливо перебирал какие-то бумаги.

– Мне не надо вас убивать! – сообщил я.

– Я очень рад за вас, – поздравил меня Кузнечик, не отрываясь от бумаг.

Зазвонил телефон.

– Меня нет! – крикнул Кузнечик.

Я снял трубку и снова услышал Киру.

– Его нет дома, – сказал я ей. – И перестань звонить каждую минуту.

Кузнечик чего-то не мог найти и нервничал.

– Не волнуйтесь, – сказал я. – Я с машиной. Я вас подвезу.

– Да? Это очень кстати. Тогда у нас есть еще, – он посмотрел на часы, – одиннадцать минут.

Кузнечик вывел меня на кухню и достал из холодильника запотевшую бутылку джина.

– Мне нельзя, – сказал я.

– Мне тоже. Символически... – Он разлил джин по рюмкам.

Мы подняли рюмки и посмотрели друг на друга. Лицо у него было узкое и такое печальное, будто он знает что-то неизмеримо больше, чем все.

– Не стоит меня убивать, – серьезно сказал он. – К чему такие хлопоты? Стар я для страстей...

– Тем более надо торопиться дать счастье.

– Некогда мне. У меня тысяча дел, которые никто за меня не сделает.

– А это тоже дело. Может быть, даже самое важное.

– Какое? – Он нахмурился, сосредоточиваясь.

– Дать счастье другому человеку.

Он внимательно посмотрел на меня и поставил рюмку.

– Насколько я понимаю, мы соперники?

– Нет, – сказал я. – Я не соперник. Она никогда не хотела меня убить.

Ехали мы в молчании. Кузнечик сидел рядом, но у меня было впечатление, что его нет. Я понял: он выключился из реальности и пребывал в своих делах.

– Вы где работаете? – спросил вдруг Кузнечик, возвращаясь в машину.

– Я – технический переводчик. Вы, наверное, подумали, что я сумасшедший, – догадался я.

– Нет. Я подумал: это мы все сумасшедшие, – он кивнул на тротуар, где текла река пешеходов. – А вы совершенно нормальный человек.

Я остановил машину против большого красивого здания.

Кузнечик выбрался из машины и пошел, чуть склонив свою крупную голову.

Я вздохнул. Потянулся к заднему сиденью, взял папку и пристроил ее на колене.

Кузнечик оглянулся и подошел к моей машине.

– Что вы ждете? – спросил он.

– Вас.

– Убить?

– Нет. Чтобы отвезти вас домой.

Я жду так часто, что это превратилось у меня в безусловный рефлекс.

– Не надо, – сказал Кузнечик, удивившись. – Большое спасибо. Я сам доберусь.

Он улыбнулся мне, чуть приподняв лицо, трепеща ресницами. Потом повернулся и пошел – одинокий и непостижимый. Звездный мальчик. Инопланетный человек. Он делает свое дело и не входит ни в чье положение. Поэтому Кира выбрала его, а не меня. Хотя, объективно, я более красивый и положительный и предпочитаю порядок тотальному хаосу.

Через месяц случилось то, что должно было в конце концов обязательно случиться. Меня выгнали с работы.

Мой начальник Лебедев сказал, что у него нет другого выхода, поскольку если он не выгонит меня, то вышестоящий начальник выгонит его. А он, Лебедев, к этому морально не готов.

Я сказал:

– Извините, что я тратил ваши нервы.

Я рассчитывал, что моя покорность смутит Лебедева и он отменит свое решение. Но Лебедев пожал плечом и сказал:

– Каждый человек тратит другого человека. Это и называется жизнь.

По тому, как он говорил со мной, вежливо и отстраненно, я увидел, что он уже сбросил меня со счетов. У него уже есть на примете другой переводчик, которому обещано мое место. Может быть, он уже сейчас сидит в раздевалке и ждет, когда я уйду.

Я вышел от Лебедева. Перед его дверью сидела секретарша Роза. Прошное лето я вывозил ее с семьей на дачу.

– А меня выгнали, – сказал я Розе.

Я мог рассчитывать на то, что Роза бросит все свои дела, выведет всех сотрудников на улицу и они пойдут перед издательством с лозунгами и транспарантами.

– А за что? – спросила Роза.

– За то, что я ничего не делал...

– А...

Организовывать забастовку Роза не побежала. Осталась сидеть на месте.

– А на что ты будешь жить? – спросила она.

– Что-нибудь придумаю...

Роза задумалась. Ее лицо стало сомнамбулическим. Видимо, она мысленно изыскивала средства, на которые бы она существовала, если бы ее выгнали с работы.

Тамара стояла возле плиты и готовила ужин: жарила яичницу с докторской колбасой.

В кухню вошла ее десятилетняя дочь Катя.

– Мне грустно! – воскликнула девочка. Ее голосок прозвучал пронзительно, как крик птицы.

– Это нормально, – объяснила Тамара. – Человеку не может быть только весело. Если это не идиот, конечно.

Катя постояла и ушла.

– Тамара, – сказал я, – одолжи мне денег.

– Я же при тебе купила эти колотырки. Весь аванс ушел. Я сама думала: у кого бы пере-
хватить. Честное слово!

Тамара показала мне искренне вытаращенные глаза.

– Я верю, – сказал я. – Извини, пожалуйста.

В кухне появился ее муж Левка. Он был заспан и одет, как беженец. Он любил спать
среди дня.

– Ты чего не раздеваешься? – спросил Левка.

– Я на минуточку.

– Зачем ты ее возил? – Левка глядел на меня с брезгливым любопытством.

– Она попросила, я и повез.

– Лева! Ну я же тебе объясняла: мне надо было исключить! – вмешалась Тамара.

– Она же истеричка. В следующий раз она тебя в морг потащит. Тоже поедешь?

– Наверное, – я пожал плечами.

– Зато теперь я спокойна, – сказала Тамара.

– Можно было успокоиться меньшей ценой.

– Это тебе всегда все удастся даром, – сказала Тамара. – А я всегда плачу втридорога за
все: и за туфли, и за покой.

– Ты платишь, когда можно и не платить. А почему? Потому что у тебя низкая разреша-
ющая способность мозга.

Тамара внимательно посмотрела на мужа, пытаясь расшифровать сложную формули-
ровку.

– Ты дура, – расшифровал Левка.

– Если бы я была дура, то я не защитила бы докторскую в тридцать пять лет.

– Значит, ты умная дура.

Левка достал начатую бутылку водки.

– Садись с нами, – предложил он.

– Спасибо, – отказался я, потому что каждый день ем яичницу с колбасой.

– Ну, просто выпей.

– Не могу. Мне нельзя.

– А ты всегда делаешь только то, что можно?

– У меня камни.

– Они и не почувствуют.

Левка разлил водку по чайным чашкам. Поднял свою чашку. Ждал.

– Ну?

Когда я чувствую волевой импульс, направленный на меня, я не могу противостоять. Я
выпил и потряс головой.

– Может, все-таки сядешь? – предложила Тамара.

– Да нет, – сказал я. – Пойду.

Когда-то, в студенческие времена, я привез из Одессы старый штурвал корабля и при-
делал его на балконе. С внешней стороны. Моя квартира представлялась мне кораблем, ухо-
дящим в открытое море, а сам я – пират с повязкой на глазу. Я прыгал со своего корабля на
чужой, бежал, громко топоча по деревянной палубе, – отнимал. Не отдавали – убивал. Ссыпал
в карман драгоценности. Целовал красивых аристократок и носил повязку на правом глазу. Я
глазом платил за эту вольную жизнь, а может быть, даже надевал повязку на здоровый глаз.

На сегодняшний день мой штурвал потемнел от дождей и засохшей грязи. Рядом с ним
стояли пустые бутылки из-под боржома и высокая банка с олифой.

Не снимая пальто, я сел к телефону и набрал номер Лоди.

– У нас все в порядке. Спасибо, – отозвался Лодя. Он решил, что меня беспокоит его семейная жизнь, и благодарил меня за заботу.

– Одолжи мне денег, – сказал я.

– Сколько?

– Сколько есть.

– На сколько?

– На сколько можешь.

Эта неопределенность повергла Лодю в размышление.

– Я могу дать тебе десять рублей на неделю, – предложил Лодя.

– Меня это не устроит.

– А больше у меня нет.

Я молчал. Лодя воспринял мое молчание как недоверие.

– Вообще у меня есть, – признался Лодя. – Но они на срочном вкладе. Если я их оттуда возьму, я потеряю проценты.

Я молчал. Слушал.

– А вообще, если честно, проси у меня все, что хочешь. Я могу сделать тебе выгодный обмен, машину без очереди. А денег я не занимаю. Жадный я до денег.

– Спасибо, – сказал я, имея в виду машину без очереди.

– Ну, звони! – Лодя торопился окончить неприятный для себя разговор.

Я включил телевизор и стал его смотреть. Холодная водка блуждала по моим сосудам, и мне было холодно.

Когда я раньше смотрел телевизор – я помнил, что меня ждет работа, и мучился угрызениями совести. Эти угрызения делали все передачи особенно интересными, и я смотрел от начала до конца, что бы мне ни показывали.

Сегодня я мог сидеть перед телевизором со спокойной совестью.

Шла передача о том, как готовят капитанов дальнего плавания. Каждому поступающему задают тесты. Ответы запускают в машину, а машина точно определяет – годится человек в капитаны или нет.

Зазвонил телефон. Я снял трубку.

– Кто это? – спросил звонкий голос, не то детский, не то женский.

– А кого вам надо?

– А это кто? – настаивал голос.

– Дмитрий Мазаев.

– Ты дурак! – азартно крикнул голос, и его владелец бросил трубку, чтобы я ничего не успел ответить. Чтобы последнее слово осталось за ним.

А ведь правда, понял я про себя. Я дурак. Дурак, как всякая биологическая особь, бывает разных родов и видов. Есть дураки умные, как Тамара, есть – торжественные. А я – набитый дурак. В тех дураках есть хоть какой-то смысл. Во мне – никакого.

Зерно, брошенное в землю, прорастет ростком только весной, когда земля вспахана и ждет этого зерна. Я же, как полоумный пахарь, бросаю свои зерна либо в сугробы, либо на асфальт. Мои зерна гибнут и никогда не возвращаются мне хлебом. Книги, которые я перевозю, идут в другие страны. Женщина, которую я люблю, каждый день уходит в свою жизнь. Я как бассейн на Кропоткинской, который обогревает вселенную. А если этот бассейн вдруг закрыть, а воду выпустить, – вселенная и не заметит. Ее климат не изменится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.